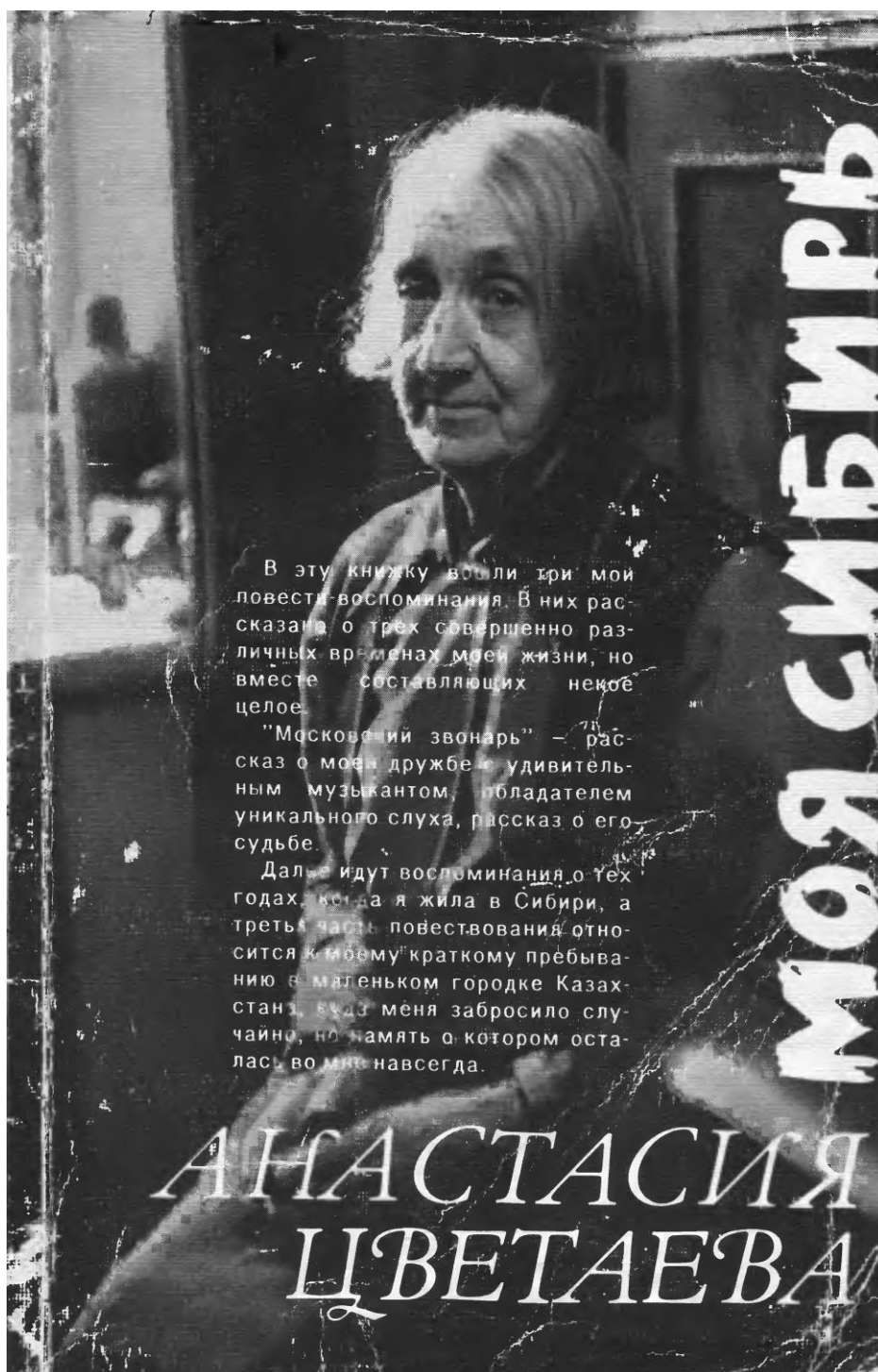


АНАСТАСИЯ ЦВЕТАЕВА



В эту книжку вошли три мои повести-воспоминания. В них рассказано о трех совершенно различных временах моей жизни, но вместе составляющих некое целое.

"Московский звонарь" — рассказ о моей дружбе с удивительным музыкантом, обладателем уникального слуха, рассказ о его судьбе.

Далее идут воспоминания о тех годах, когда я жила в Сибири, а третья часть повествования относится к моему краткому пребыванию в маленьком городке Казахстана, куда меня забросило случайно, но память о котором осталась во мне навсегда.

АНАСТАСИЯ  
ЦВЕТАЕВА

АНАСТАСИЯ  
ЦВЕТАЕВА

**МОЯ  
СИБИРЬ**

МОСКВА • СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ • 1988

БК 84 P7  
Ц 27

Художник Вл. МЕДВЕДЕВ

4702010201—451  
Ц ————— Без объявл.  
083(02) — 88

ISBN 5—265—01017—3

© Издательство «Советский писатель», 1988

# СТАРОСТЬ И МОЛОДОСТЬ

...Но раньше всего: «писать» — это не «сесть за стол» (еще когда дорвешься! — и тут, вбок — мысль Розанова об удивительности механизма сего: шел с одним, сел — написал другое!). Нет — целый день — пристальность уха и глаза, глотающих. Точнейшим ситом упускать и задерживать (золотые песчинки в золотоносном песке). Напряженность процесса! Блаженное утомление дня... Но и не об этом сейчас, опять не об этом. А о том, как это становится словом, заключительным актом лихорадки? ясновидческой? (Видение Карлайля!)

Это начинается так: идешь — люди, дела, еще и не виден дом, куда, войдя, будет дверь — стол — лист, — еще и часа не брезжится, когда, дверь закрыв... Нет! Это не начинается вовсе — это не прекращается. Этим трясет, это летит и тебя уносит, это составляет страданье, что люди, дела, а ты сквозь все — с тем — в горелки, руки вперед — схватиться, не упустить — и уж споткнулся о тину памяти, *упускаешь* — как в том первом сне детском, с коего все начало называться, — недогоняемость! ужас неповторимости — и вот, в черном отчаянии, — молния! свет! слова легли светлым зигзагом — назвал!

Поезд замедлял ход. Кокчетав, город. Но над городом — медленные холмы, и меж них уходят дороги, плавно потухают о даль. (Так было 55 лет назад, меж Коктебелем и Феодосией. Марине и мне было 18, 16 лет.) Полукруг холма. По его хребту идет человек. Картина Марка Шагала?! Весь — в небе, только ступни по земле. И в закатный час — туда выбежал мальчик, и за ним — прыжками, взвиваясь — бумажный змей!..

Взглянув на низкое, захолустное здание, внука Рита:

— Ну и вокзал!.. Воображаю — город! Фу-у... Не хочу тут жить! (Непередаваемая гримаса.)

И мой зеркальный ответ:

— А ты — кто? Примадонна? Ты учиться приехала! А мне очень нравится вокзал!.. Как не стыдно тебе перед папой! Ни слова такого ему! Он взял отпуск, поехал нас проводить...

Пока сын сдавал на хранение вещи, мы смотрели — тщетно, не встречает ли нас

тот человек, которому мы послали телеграмму. Нас не встретили. Сумерки прикрывали закат с быстротой, странной для Казахстана. Ждать было нечего. Такси не было. Автобус везет нас улицами, на которые мы глядим тремя разными взглядами: сын — деловым, оценивая удельный вес города, Рита — с брезгливостью ее 18 лет, моих 72 — с радостью. Одно-двухэтажные дома, мощные стволы осин, тополей (как люблю клокочущий шелест крупной листвы! Так в Тарусе шелестели в детстве крупные лесные лиловые колокольчики, точно в лупу увеличенные полевые...). В пединституте не было никого.

Оставался один адрес. В гостинице, вероятно, нет мест.

Пересадки, расспросы, и по колеям и ухабам разрытой для труб окраины мы подходим к четырехэтажному зданию — ряды и ряды таких... Уж почти темно. Отсутствие фонарей. Кое-где квадратики окон. Холодает. Усталые ноги шагают в кротком разочаровании. Узкая лестница, мгла. Адрес верен. Но того, кто мог встретить, нет дома. Четыре этажа — вниз. Стало совсем темно. Кучи земли под ногами. Город — и тот, первый, милый, уютный, и новый — из спичечных коробков, — все пропало во мгле. Я жила благодарностью сыну: что бы мы делали без него! Он везет и ведет нас. Площадь. Претенциозные колонны гостиницы. Мест — нет: делегаты. В городе — одна гостиница? Да. Остается вокзал. Мы направляемся к выходу. В эту минуту — так бывает во сне — раздается моя фамилия.

— Цветаева? — спрашивает в телефонную трубку только что нам отказавшая. — Я не знаю, надо узнать.

«Однофамилица? — думаю я с горьким юмором. — Значит, устроилась. А мы...» Но сын уж стоит у трубки.

— Цветаева здесь! Мама, вас спрашивают.

Незнакомый, согретый сожалением голос:

— Простите, я запоздал. Отлично. Я сейчас буду в гостинице. Через пять минут.

Через десять Добрый Дух в образе высокого круглолицего человека в близоруких очках ведет нас к себе. И в глубокую ночь — в том четвертом этаже, теперь светлом и теплом, разговор о пединституте, городе, местных условиях, факультетах, отделениях, кафедрах.

Засыпая, Рита говорит увлеченно:

— Только бы мне сдать...

На другой окраине, там, где старые дома и холмы, высоко над озером Копой — на Чапаевской улице маленький дом. В нем — хозяйева. Мы во дворе, в совершенно отдельном домике: вход через что-то похожее на гараж, полупустой (бочки, ящики), в низкую побеленную комнату с пылающей печкой, столом и двумя кроватями. Тут мы будем жить с Ритой.

На моей кровати сегодня ляжет Андрей, а я, задыхаясь в такой жаре, ухажу к хозяйке на парадный диван под ковром — ослепительно изумрудный лес с ослепительно золотыми оленями. Спит герань, и я сплю, спит черная кошка с тигровым сыном, спят Андрей и Рита. Не спит один Шарик — черный дворовый пес, встретивший собачьей яростью, но быстро сменил ее на собачью милость, почуяв истинную любовь. Скоро выть псу — луна подымается. И не спят олени, застыли, насторожились, слыша собачий лай...

А наутро — веселый двор, заваленный досками, и петух кричит, как сто лет назад, и, как без малого пятьдесят, сын мой возится с хозяйскими удочками, роет червей: в озере, услышал, рыба. Озеро? Значит, мы вместе пойдем! Но, постояв во дворе, увидев его

оживление — помолодел и забота с плеч, — узнав это неотвечанье на вопрос, отсутствующий взгляд (острота присутствия в своем, сейчас, мире): «Рита, папу не надо тащить с собой — ни на озеро, ни в столовую! Говорит: «Что-нибудь поем тут, из дорожного», — ты пойми: он как мальчишка сейчас, ему дорог часок свободы, а мы — «вместе с тобой». Мать, дочь — ему это сейчас не нужно!»

Но понятное матери — дочери его недоступно, она тоже еще девчонка: «А я хочу с ним, посмотреть, и сама попробую». И так жарко это «хочу» (жарче его «не хочу») — где мое право всегда настаивать, подавлять?

В ней остаток детского обожания отца — и как ему положить предел: «Стоп! Пожертвуй собой!»

За воротами спуск улицы вниз, и там, верстах в полутора, — синяя полоса озера. Мы идем, беседа не клеится, трудно мужчине, только что бывшему мальчиком, стать отцом почти взрослой девушки, сыном 70-летней матери... Так же не клеится и обед в ресторанчике «Север», раздражающе медленно подает официантка (когда еще по горе за удочками, червями и снова с горы — к озеру? Много ли останется от дня на рыбную ловлю? Поезд сына уходит в 8 часов).

Так, по скрещению мечты разных типов и смещениям каждой из них совершаются одна за другой ошибки, и в катящееся их колесо, зовущееся, может быть, жизнью, нелегко вставить палку (и — между каких спиц?).

Озеро лежит глубиной и прохладой, плещет о берег совсем не синюю воду. Запах водорослей — нежданен, как исчезновение синевы, — и откуда морские чайки?

У них те же глаза, 53 года и 18, темно-серые и большие, — но в старших давно угасло юношеское веселье. Я гляжу, как дочь за отцом входит на узкий помостик, отходящий от берега в воду, — одну Риту я бы боялась пустить туда, на конце уже — глубина, но с отцом боязнь снимается, как с доски мел, и я радуюсь: сижу одна на покосившейся лавочке, завернувшись, как она, в старый, лиловый клеенчатый плащ, — ветер... Минута моей свободы — ни страдательного залога, ни сослагательного и условного наклонений (я-то люблю их, но — но, как сказала одна мать о своем ребенке на родительском школьном собрании: «Я-то вас понимаю... да ему-то моей головы — не вставишь?»).

Если прищуриться — того берега нет, озеро почти слилось с небом. Так и не дала мне жизнь того, что так страстно желалось лет 30 тому назад, — ящик масляных красок, складной стульчик, и по тарусским холмам над Окой... Увезли с тех холмов — и надолго!

Удочки взлетают в воздух — то одна, то другая, клекот воды... Давно ли я с 10-летним сыном — на мосту над рекой в Звенигороде, его первая банка с плотвою...

— Рита, поди сюда! На минуту! — И когда она нехотя подошла: — Ты забыла, что надо учиться? Через четыре дня — первый экзамен! Сейчас же идем, слышишь? — (Как я рада, что отец ее этого не может оспорить, в жертву себя сейчас — от отцовского благородства и от вечного против меня бунта и раздражения — не принесет, не сможет настоять, чтобы она осталась, а будет хоть полчаса, хоть час один — с озером...) — У тебя совершенно нет такта, Рита! — Мой голос жесток. — Ты ж отравила ему его маленькое удовольствие: нужна ты была ему — рядом, учить тебя, объяснять, помнить, что он — отец! Он хотел беззаботности! У тебя один закон — «если мне хочется»! Это очень нищий закон!

Эти слова мои были мертвы. Но как только я их сказала — их удельный вес дрогнул, как те удочки, — и взлетел вверх пушком, потому что Рита шла рядом, отчего-то

притихшая, и там, где я уверенно мнила фонтан возражений, была пристыдившая меня тишина. Боль? Ее беззаботный час на мостике в озере — отравила сейчас — я?

...В хозяйском ведрке серебрилась кучка рыб — сын не успел их попробовать, оставил на завтра нам, — поезд отходил через час, и мы не смогли проводить его, как хотели, потому что Рита занемогла, а я — как оставить ее? Уложила и искала лекарство. Сын уходил вниз по улице, унося авоську с едой на дорогу, — единственная радость, что успела ему кое-что завернуть... Как когда-то, провожая его отца у ворот моего отцовского дома, я стою у чужого забора, смотрю вслед. Вот еще мелькает — все мельче — светлый плащ, над ним — ярче — пятно шляпы. Очень холодно! Успею, схвачу что-нибудь на плечи, догляжу его! Бегу, как девчонка, — от души оторвался кусок, летит за ним под гору.

Я прибежала, схватив пальто. Увы! Неужели уже успел завернуть за угол? Дорога тиха и пуста.

В низкой комнатке, где вчера было жарко, сегодня так холодно, что мы кутаемся во все — свое и хозяйское, Рите ноги согрели черная кошка и ее тигровый маленький. Показалось? Или кто-то за стеной тронул гитару? Звук гитары навек — и Марине и мне — мама! «Der Guitarenklang rollte wie eine Perle...»<sup>1</sup> Эти слова Heinrich'a Mann'a повторяла в молодости Марина. Ни Марины, ни мамы... Мама — в 37, Марина — в 48... Мне в Воздвижение — 72, Лёре — 84. То, что она тяжело болеет скоро уже год, а я все лето с девочками, снимется навсегда вина... Но оставить Риту, которую учу с 5 лет, когда нужна ей каждый час перед экзаменами...

«Der Guitarenklang» ...Неужели — такое счастье, что любимый с детства немецкий я смогу начать с Ритой вот тут, в этой комнатке? В пединституте 2-й язык — немецкий, с 3-го курса он обязателен, с кем она его начнет, как? «Баб, я себе не могу представить, чтобы я какой-то язык с кем-то другим начинала! Не с тобой!» В скольких городах мы с нею были! Я, начав, и продолжила с ней английский, затем — французский. Все мои три языка. За что мне судьба шлет 3-й язык, когда в школе один проходят? Когда не было прецедента, чтоб экзаменовывать по двум, за что английский ты получила в раннем детстве, школа начальство запрашивала? И так просто вдруг оказалось, что твоего 2-го тут нет, 2-й тут — немецкий, и мой вздох всегдашний, что так и умру, тебе его недодав, — стал из вздоха — учебной горячкой! Как только ты сдашь все 4 экзамена — сразу же за немецкий язык! И ты каждое слово поймешь с детства слышанном, недоступном (тебя им укачивала, как лермонтовской колыбельной) «Ich weiss nicht was soll es bedeuten...»

— Ну, ну, скажи, Баб, как дальше?

А я уже говорю:

Das ich so traurig bin

Ein Märchen aus alten Zeiten

Das Kommt mir nicht aus dem Sinn...<sup>2</sup>

«Uhralt» — поймешь! «Пра-Пра», «незапамятное».

Это было 28 июля. Дни до 1 августа были сплошной горячкой — английской. Дебри грамматик устных и письменных прерывались только едой и сном. Нет, еще моим восхищением городом, хоть и задыхалась, всходя на холм. Через два дня казалось, что давно знаем хозяев, через четыре — что всегда жили здесь...

В углу комнаты — треугольная полка. Должно быть, тут жила какая-то старинная

бабушка. Я держу в руках узенькую, в позолоте, дощечку с изображением строгого святого. В его руке — свиток, на нем — слова. Что-то скажет он нам, мне и Рите, тут поселившимся? Читаю славянскую вязь: «Поминайте чад непрестанно в безвестный и трепетный час смерти...»

Хозяева: Володя, лет тридцати, шофер, добрый и тихий малый, жена его, Анна Ивановна, чуть побойчей, но вежливая и деликатная труженица. Дочка трех лет, Люда, озорная, настойчивая, громкая плакса. Но и она не нарушает тишину дня: только перед вечером приходит из детсада. На квартире у них — столько девушек: кто готовится поступать, кто приехал учиться — в школу товароведов и на поварские курсы. Удивительно: и они тишине не мешают — выходят через парадное крылечко на улицу, а мы — со двора. У Володи — вздох жены! — своя машина, «Москвич», взятый в рассрочку пополам с братом Славкой. Братья невысокие, полные и спокойные, женаты на двух сестрах — Тая Славкина на сестру не похожа; тоже держит девушек-постоялок; их дом — по тот бок нашей с Ритой хибары. Когда мы сидим на нашем холме в нашей низкой (руку вытянуть вверх нельзя) хижине под охраной свирепого для чужих, к нам нежнейшего Шарика — совершенно кажется неестественным, что какая-то есть Москва и что в эту Москву я поеду. Почему бы, собственно, не остаться мне в этом тишайшем углу с горами, озером, церковью (и у церкви — купол, не так, как в Павлодаре), с улицами, где идешь и идешь — никого, одни окна, крылечки, деревья. Озеро издали мнится морем, как оно меняет цвета, если сверху глядеть; на фоне его стоит пединститут, светлое в три этажа многооконное здание. Есть и площадь Ленина с памятником ему, и ряды асфальт-улиц имени Маркса, Кирова, Урицкого, Сакко и Ванцетти, Куйбышева (его родина), и ряды улиц, где колеи и земля, — Пушкина, Пугачева, и дальше всякая старина.

Воду по улицам возят в длинных лежащих металлических бочках с надписью: «Питьевая вода». Люди бегут с ведрами. Нам в проходной безоконной хозяева наливают трехведерный бак с крышкой.

На улице Куйбышева — столовая, самообслуживание, все честь честью. В киосках продают соки фруктовую воду, журналы, общие тетради, актрис, космонавтов.

В ресторане «Север» цены выше только с 5 часов дня, а если в магазине «Мелодия» среди музических инструментов в затесавшемся туда писчебумажном отделе, называемом «канцелярские принадлежности», нет и не ожидается авторучек, так необходимых Рите и мне, — то, может быть, лишь потому, что в канцеляриях (повелось еще до Петра) есть ручки с перьями и чернильницы.

Все это — вздор. Можно отлично жить в Кокчетаве — фотопленки и гомеопатические лекарства выписывать через друзей по почте. Зато тут можно — в обнимку с Шариком, и в вашу комнату входит, как домой, черная кошка, — а попробуйте ее завести в московской общей квартире — ни вам, ни кошке несдобровать...

Пока Рита учится, я иду за обедом, — я открыла еще столовую, близко, для рабочих-монтажников, с 12 дня до 2-х — цены низкие, и хоть порции отчего-то маленькие, но на 20 копеек я беру себе четыре каши — это обед и ужин. Рите — мясное второе и кофе. Суп варю дома. Иногда мы ходим туда есть, но Рите не нравится, у нее совсем другой вкус, чем мой: я люблю все дешевое, она — все дорогое. Но когда я иду одна и несу выбранное в авоське, по холму под жарким солнцем идешь, будто ты в Коктебеле, и озеро внизу — черноморское.

Только недавно я стала ступать на траву — есть такая травка-муравка, кудрявая, низкая, я ее гущу обходила еще в прошлом году во дворе в Паланге — щадила. Теперь — иду. Отчего? Мало ходить осталось. Она, кажется мне, не сердится. Она — возродится. Я исчезну скорей, чем она.

Маленькая рыжая телка пасется всегда на том же месте. Что за странная почва — не песок, земля, но по всему холму меж низких полыней — камешки, не гравий, а острые, как осколки, — и они всех оттенков от белых и серых до рыжих, лиловых и розовых и местами, точно они же, но в миллион раз увеличенные, лежат вросшие в землю — большие, пестрые, и они похожи на скалы у моря. И я нагибаюсь (хорошо, что не суп несу!), подбираю, сую в карман: на московском столе письменном лягут кокчетавские камни. Ах, камни тарусские! Возле ручья нагибались с мамой, подбирали горящие кристаллами сокровища!

Средь суровых серых кривых плоскостей россыпью сверкал горный хрусталь — он навеки, годы позже, остался тарусским. Окский горный хрусталь в Альпах, в Шварцвальде, в Саксонской Швейцарии...

Палка мешает! Еда мешает! И не хватает рук — целый букет полыни собрался, как пахнет! И мох, лиловый, как в *Argentretes* собирали с Мариной, и низкорослые сухие цветочки, мелкие и — чудо! ведь сушь! незабудки...

Деловито: полынь — часть на стол, в воду (обрадуется!), часть — веник, и вот эту горсть — вместо ерша мыть бутылки кефирные — раз нет в Кокчетаве ерша. Стала. Взошла на холм, задыхнулась. Озеро такой синевы — глаз не верит! А вчера, когда закат обвел абрис холмов и город вправо тушью китайской, внизу в фиолетовой дымке зажег серебряные огни, оно лежало светлей стали, острым и легким блеском, и над ним — туманно-розовые облака.

...Рита выдержала! Английский — профилирующий — на пять! И сразу устроили ей и по французскому экзамен, неожиданный, как при окончании 11-го, и, когда среди множества двоек и троек из всего четырех-пяти пятерок две были ее (их прочел в зале декан), у меня в носоглотке стало как в детстве и в горле — и я испугалась, что слезы.

После русского 17-го — история. Неужели — выдержит? Неужели — провалит? Жизнь замерла. Дни измерялись количеством страниц пройденного. Есть ей ходить было некогда. Хозяйка дала починенную Володей электроплитку с черным резиновым шнуром толщиной в палец. Она шла кольцами по полу, и мы через змея шагали, и свет выключался, и спираль перегорала, но все-таки чай закипал, и струя наполняла термос, яйца варились, и хлеб с маслом и сыром Рита ела насильно, зная — не уступлю.

А потом — ночь, и черная кошка в обнимку с тигровым котенком спят у нее в ногах.

Утро и день лили в хибару прохладу, солнце входило после обеда. Точно никогда не жили в высоких домах, так быстро свыклись с дверью ниже лба, лоб не бьем, нагибаемся ловко и вовремя. Крючка нет у двери — мы заматываемся на ночь веревкой.

Анна Ивановна жалеет: Володя придет, крючок ладит, — но уж который день, и, вспомнив ею оброненные слова, что «все вечера округ машины своей, ни к чему в доме рук не прикладывает, не то что Славик — все Тае в дому делает...» — мы берем у хозяйки висячий замок — и он, Замок с большой буквы, делается членом семьи — живет на чугунной плите печки, на которой стоит таз. И, ложась спать, запираемся им сквозь две тугие, как на амбарах и складах, неподвижные петли наружных дверей проходного сарая.



Свою дверку в него — нараспашку и спим в наставшем тепле ночей августа, после кончившихся дождей. Сын уж второй раз шлет деньги — голубчик! И еще есть мои «новомирские» (за публикацию), деньги текут — хоть их и записываю — скользкие, как вода...

подагра мучит суставы. С теплым журчаньем под лай непримиримого Шарика3 въезжает во двор счастливый своей машиной Володя, добро моет ее, храня марку и блеск, а она заливает ночь соседских домов — арией Верди... Голоса несутся опьяненными фиоритурами над казахскими и русскими домиками, как над Соррентийским заливом; голос с русской пластинки: «Вернись в Сорренто» (вилла, где жил Горький, 1927-й...).

По улице Валиханова (его имени пединститут), где быстро волшебными стрелами, как во сне, растут асфальтовые тротуары, прерываемые поперечными немощеными улицами, какая услада идти, идти и смотреть на чужое жилье, чужие сады, окна, лесенки, внутренность дворов, — кажется, еще бы 72 — не устал бы! А ворота! (Наши, и их Володя на засов и подпорку, — высокие, как при Иоанне Грозном.) А калитки! А куст, вышедший из пределов на улицу! Андерсеновский, разлапый, жаркий от лабиринта теней. И прилепленный вдруг к простейшему дому — призему — белый алебастровый вход, как фарфоровая игрушка, — легкая крутизна ступеней, два вазона, над ними два белых шара, узкая дверь модерн, и над нею два щегольских завитка, как на старинном зеркале... Это ли не бред? Чьей фантазии? Лечу, палкой — шаги. Откуда — такое? По бокам широкого покоя крыльца с тяжелыми ступенями — две боковых стенки, вырезанные из толстеного темного дерева — отступившими откинутыми полукругами, переходящими в глубокий навес крыши подъезда. Это опять — сказка, только уж русская. Какой-то дремучий дом! (И дремучий там должен быть сад...) Палкой — шаги. Голубой дом и синие ставни. Это уже — Гримм!

О! Вот такого я давно не видела! Посреди тротуара — большой камень, вам по живот! Лежит себе совершенно спокойно, преграждая путь. И обходишь его, удивленно и вежливо, как живого.

А по Чапаевской (той самой, где, позже узналось, несколькими кварталами ниже, музей Куйбышева) есть понижение среди немощеной улицы, похожее на неглубокую яму. Здесь подъем по холму уж довольно крут, и яма имеет рельеф сложной конфигурации. Тут, в беспорядке, мало назвать живописном — феерическом! — спутаны в хаосе беспризорности и отшельничества от городской и общественной суеты предметы столь разнородные и столь с виду древние, что веет от них археологией скорее, чем столь желанным для сбора утильсырьем. Пружины, задумавшиеся над брэнностью своего назначения столь давно, что и археологи не помогут; кости — странно больших размеров, несомненно — подарок палеонтологам с их неземного названия эрами; лохмы переродившегося войлока, безысходно спугавшиеся с вервием и даже, быть может, мочалой; велосипедное колесо; разорванное ожерелье консервных банок, раздавленных чьей-то на них плясавшей пятой; поршень, искривленный каким-то винтообразным движением; допотопный, превращенный — временем — в воспоминанье, некогда эмалированный кувшин без дна, — лежат на фоне чего-то совсем уж неназываемого; и венцом зрелища, конечно, пара разрозненной обуви: загнутый венецианской гондолой когда-то сапог и старушечий, серый от пыли и возраста ботик с совершенно целой

железной застежкой. Где второй сапог и второй ботинок — этот вопрос бесполезный, ибо на него не мог бы ответить даже так много писавший об «Antiquely» — «Древности» сам Чарльз Лэм. По этому, на холм всходящему, концу транспорт не движется, разве повозки с баками «питьевая вода». Посему дети царствуют на раскопках стихийно-свободно, не связанные никаким надзором.

Рита на консультации по советской литературе. А я, я, как в отрочестве (тогда — еще мало сил, теперь — уже мало) — делаю перестановку: кровати стояли по смежным стенам, под углом, одна — вдоль окна, низкого и разлатого (вместе — два квадратных окошка); стол — у двери и, так как далёк от света, наставлен едой и посудой, и негде писать. Оголив железную с сеткой Ритину, свалив с нее матрац, одеяло и огромную голубую подушку, я тащу на себя остов кровати по геометрически — явной нелепице: ракурс поворота короче ее длины. Задыхаюсь. Не выйдет? Но надо, чтоб вышло, — иначе как жить без стола для книг и тетрадей? Тащу, толкаю, молю комнату, чтоб раздалась на йоту! — и в миг полной прижатости железом к печи — усилием жил и ребер — господи, помоги! — подымаю угол кровати над мешающим ему углом печи — и, сняв с нее кусок штукатурки, победоносно осиливаю геометрию — дальше уж можно отдохнуть, двигая понемногу. И когда входит Рита (ни за что бы не согласилась, что такое возможно и нужно) — комната совсем новая: кровати стоят параллельно, разгром постельный убран, и у окна — стол; слева Ритины тетради и книги, справа — мои рукописи. Быт же загнан на полки меж дверью и печью — хлеб, сыр, огурцы (еще Ритиной мамы, в дорогу нам), ее же варенье, масло, две ложки столовых, одна алюминиевая тарелка и один (для всего хозяйства!) перочинный нож. Правда, вход стал узок (часть двери занята длиной Ритиной кровати — зато это наша комната, комната экзаменов и работы над «Воспоминаниями», а не хозяйский чулан... Режет глаз розовый ситец (прибит над моей кроватью), зато занавески у окон (в две трети их) — белые, по стеклу. Сверху же амбразуры — тюлевая; со двора (проверено) нас не видать, мы же сквозь нее имеем достаточно света, отодвинув низенькую сплошную.

Видим Шарика и как кидается на него своей черная кошка, а он стоит над ней великаном, виляя хвостом. И много раз в день лицезреем необычайное зрелище: как Шарик, грозно рыча каким-то удушенным лаем, вдруг кидается яростно на свою (тяжеленную) цепь, кусает ее, бьет ее лапами, отбегаёт, натягивая ее, и затем, с разбегу бросившись на ее исток у столба, силится ее там изничтожить. Картина жалкая и величественная: я такого не видела за 70 моих лет. Ощущая врагом и помехою цепь, не сдаётся. Говорю: «Шаринька, перестаньте! Вы же старый и мудрый пес! Плюньте на вашу цепь, не обращайтесь внимания, цепь — это маленькая подробность! Вы же все понимаете — и не тратьте на мелочи ваших собачьих сил!» И не оттого, что я вынесла хлебных корок или пошла в «золотой чашке» (банка из-под консервов болгарского перца), Шарик танцует грациозно, как балерина, — Шарик больше хлеба ценит ласковый голос, и, когда Рита или я, не стерпев от муки, выходим, он тотчас, смущенно извиняясь за представление, вызванное младенческими страстями, прекращает их с того же размаху, как начал, — и неистово радуется беседе мудрым собачьим сердцем, и трясет ушами, чихает, отряхивается, как от воды, всем собою, и лижет нас розовым языком, и закатывает от счастья глаза...

И теперь о воде: нельзя носить тяжести, у меня сетчатка глаза нарушена, каждое черпанье банкой или черпаком из стоящего в нашем цементном сарае оцинкованного трехведерного бака вскоре становится мне ощущением болезненным и движение — воровским.

Не зная, входит ли вода в цену 10 рублей с носа — квартирную, боюсь уточнять и пытаюсь тратить меньше воды, но удается плохо. Деликатная Анна Ивановна не говорит ничего, наливает и наливает, притащив из городской бочки с надписью «Питьевая», когда та вкатится на наш холм. Но ее деликатность еще горше делает воду, и она иногда кажется мне тою серебряной водой — влагой, какой в 19-м году века являлась в Судаче в пору гражданской войны: колодцы близ моря — соленые, а за пресной водой было далеко идти по горной тропинке (да еще дадут ли и, принесенная, цедилась на полустаканы и отливала целебностью и серебром. Правда, есть другая вода — за калиткой, которая на засове, — по по пути в город стоит что-то вроде цистерны, но ее колесико над землей туго и неудобно, я боюсь открыть — и не смочь закрутить. И раз, набрав, принесла совсем ржавую воду и с сомнением полоскала в ней бязевую простыню, без того непоправимо желтую. Эта ли неудача? Но я как-то забыла — забываю про эту вторую воду и, полоща по одной-две выстиранной вещи в воде питьевой, мучусь угрызениями совести. Верно, что экономлю зверски и что радость выстиранного, на солнце вывешенного превышает мучение, — но и стирка, и варка еды, и мытье посуды, банок и кефирных бутылок обретает некий оттенок бочки с медом и ложки дегтя, и я не уверена в пропорции.

Что, настроения Свифта? О нет! Уют покрывает усталость, сквозь нее слышно, как Шарик завыл во дворе ночью. Это он общается с луной... Когда вчера мы заперлись на замок и открыли дверку в пасть нашей царственной передней, готовясь ко сну, — вдруг легко, как голубоватая Фея в Пихтовке (имя кошки, мой рассказ о моей сибирской избушке), вошла к нам черная кошка. Настоящая фея? Но осмотр стен показал, что в задней стене — окно (заколоченное? заставленное? Кошкин ход. Ну, а... если б захотел человек? В ночь вошло лезвие страха).

Экзамен русского близится. Грамматические правила, путаясь и перемежаясь в голове с правилами грамматики английской, кажутся много запутаннее их. Сочинение растет горной равниной, классики и советские авторы слились в неразбери-бери-ком. Рита уж не сидит за столом, сидит в постели. Бормотание длится с утра и до ночи, которая тает, как положенный на ладонь снежок.

Уж не в первый раз дети на улице (и до Кокчетава!) кричат мне вслед: «Баба Яга!» Казалось бы, пора привыкнуть, — когда еще это было в Сибири, в мои 56 лет, — я смеялась. Теперь, в 72, мне — грустно. И хуже: я ничего не нашла лучшего, как самому озорному протянуть конфету. И он перестал кричать... Сделать же это практикой невозможно — помимо недостойности такой практики — еще и по простому расчету не хватит на конфеты денег — их так любят и Рита и Оля. И — дети начнут вымогать... Но есть еще интерес: почему я Баба Яга? Не такой уж длинный нос — длинный, но в норме. Очки? Малодушие мое простерлось до того, что на днях я сняла очки. Но так как кричат не в каждый мой выход из дому, то мой (научный?) интерес к тому, какой из ингредиентов, меня на улице составляющих, является бабаягиным, — не смог быть удовлетворен. Здравый смысл говорит мне, что я на себя обращаю внимание более неискоренимыми атрибутами: чем-то не типично старушечьим, не бабушкиным. По-детски и по-мужски короткие волосы из-под шляпы. И самое дорогое — шаг. Вчера, по улице Валиханова, той, где церковь, возвращаясь в сумерках и спеша, потому что жутко

идти одной через холм под быстро темнеющим небом, я в обуви на низком каблуке буквально летела — ступня еле касалась земли («профпоходка», как я смеялась лет сорока). Прошло еще 30, а шаг тот же. Правда, не совсем тот, потому что стоит мне сесть, если встать потом, то шарниры боков ржаво стонут и первые шаги — как медведь. Зато вторые и третьи... этот быстрый шаг все замечают. Идти (если без ноши) мне всегда приятнее, чем стоять. Я ничего так не боюсь в себе, как неподвижности или искаженного шага. И, если на то пошло, быть бы мне Бабой Ягой или нет, если дело коснется шага — пусть я прочно, до самого конца жизни буду Бабой Ягой! Палка же не хуже, чем помело, отметает след... Утешает же то, что Рита, меня лучше тех детей знающая, хотя больше, чем кто-либо, страдала от моей резкости, раздраженности, деспотизма, на днях сказала мне: «Нет более уютного человека, чем ты...»

Значит, Баба Яга во мне — оспорима... В Москве я несколько раз почти попадала под транспорт за эти семь лет. Стремительность или рассеянность? А тут милая девушка, Римма Рабинович, подруга Риты, так вцепилась в меня, когда я ринулась, не посмотрев, перейти улицу, что, несомненно, меня спасла.

Если стать лицом к озеру, правый край его — плоский. Слева от озера идут холмы и обходят его, горами вдали, сзади. И ряд улиц, левых, идет вверх на холмы. Солнце встает над озером, справа. Садится над нашим холмом. И он не один — их несколько, один за другим.

...Между экзаменами русскими было три дня. Рита училась. До головной боли, до засыпания над книгой. Иногда мы из ресторанчика «Север» прямо шли в соседнюю с ним читальню: за комнатой шкафов и полок, где было безлюдно и тихо и милые мирные библиотекари.

Теперь оставалась история, и на нее всего четыре дня! От древних славян — до последнего съезда! Два толстых тома! Рита уж не вставала — не одевалась, ела полулежа и тут же читала дальше. За материалами в читальню ездила и ходила я. Еще в первые дни Добрый Дух, нас тогда ночью взявший к себе ночевать, рассказал, что есть юноша, маниакально влюбленный в английский язык, — Феденёв Володя (тоже держит, как Рита). Теперь мы с ним встретились в читальне — в первый раз, когда Рита еще выходила, во второй раз — я с ним, за просмотром газет об итогах XV комсомольского съезда. Юноша — примечательный. Я сказала бы, замечательный (может быть, еще и скажу!), если б он более владел материалом, чем материал — им.

Читальня закрылась, выпустив нас. Продолжая беседу, Володя — худой, черноволосый, в очках — шел за мной, гипнотически говоря о предмете экзамена, о том, что он учится днем и ночью, так учился и в школе.

— А она (имея в виду Риту и не имея времени — именовать) — нет? Не так? Голова — не перестает. Болит. Много дней. Знаете, я, думаю, провалю! Я ничего не знаю — это переутомление, да? Как вы думаете? Я так вам о себе говорю, что, может быть, странно? Вы мне дайте совет — держать завтра? Или попросить со второй партией, через три дня?

Он не отвечал на вопросы, говорил свое. Его руки, наверно, дрожали. Говоря с ним, я пропустила овощную лавку, она закрылась. Мы расстались возле прилавка кондитерской. Рите надо было сладкого! Ему — анальгина? Он отверг анальгин. Я дала ему адрес Доброго Духа: «Идите к нему! И сделайте так, как он скажет! И по-моему, лягте спать!»

Я — с конфетами — полетела домой. Очень мы с Ритой умилялись Володей (но умиление им — впереди). А затем настала последняя ночь перед последним экзаменом. О Рите рассказать не берусь. Но довольно сказать, что я просидела над съездами КПСС и ВЛКСМ — до 4 часов ночи, подчеркивая и суммируя материал. И заснула (и все-таки себя разбудила!) над пленумом, потому что в голове все мешалось, и был уже 5-й час утра.

Еще о Бабе Яге. Я не досказала тогда, что мое сходство с нею неполно, потому что я — по словам Риты — «уютна», уютности же в Бабе Яге... то есть именно: чего уж в ней не было — так уютности; но, написав это, вспомнила: а ведь у нее же был — кот... Кот — квинтэссенция уюта! Он же путал ее пряжу (клубки), значит, она мотала нитки в клубки, пряла... По-моему, тут надо поставить несколько точек, потому что понять как следует темы — нельзя.

В общем, опасная страсть рассуждать приводит часто к неожиданным выводам: я хотела оттолкнуться от бабаягиного берега, а вешлом — за него зацепилась: оказался еще один общий признак, еще одно сходство, кроме детьми замеченных: кошки...

По нашему двору, засыпанному соломой, бродят куры и всегда уступают дорогу. В этом есть что-то жалобное. И оно кидает тень на людей: точно куры предчувствуют... Бедная рыжая бедняга, тогда ты никуда не скроешься, когда тебя наметят — сварить...

Когда Рита сдала историю, мы, отобедав, рухнули в немецкий язык. А Добрый Дух рассказал, как к нему пришел — весь белый, руки дрожат, ночью — Володя и как он его уговорил «непременно сдавать завтра, а сегодня — лечь спать!». (Сдал на «4», удивился, думал — на «2»...)

Но еще не все о воде: куда выливать воду? Хозяйки все не было, на дежурствах, хозяин (смешно — «два Володи»...) все вокруг великолепия «Москвича» (как его — о помоях?!), и, неуверенно крадучись, я лила в конце двора под доски — как вор. Но и душа же Анна Ивановна! На вопрос мой ответила с ангельской простотой, презрев человеческие понятия о приличии: «А вы лейте во двор, под ворота, — вытечет! Володя машину моет — тоже туда идет!» И мои мыльные ручьи, омываясь ручьями из-под «Москвича», текут под ворота в мирный закоулок, никому не мешая и не возбуждая негодования казахов.

Слова, которые она вчера горестно сказала, не покладая рук в уборке, мазанье глиной гаража и нашей избушки, в побелке, стирке, мытье полов (приходя с суточного дежурства в больнице), — полны горечи. Перекладывая с ладони на ладонь комков замазки: «Тринадцатый год! Ну почему же ни разу Володя не сказал мне: «Аня, вот это надо сделать!» Почему я сама знаю и делаю? А ведь он — придет, меня нет, сказать некому, и он ходит по двору и не видит, какой же хаос! Неужели же прибрать нечего? Прибить, починить? А скажешь ему: «Да почему же ты, Володя, ничего не сделал?» А он мне: «А что делать?» Так аж зло возьмет!» Но она любит и жалеет Володю.

У Андрэ Моруа, в книжке французского адаптированного текста, я прочла рассказ о французском банковском служащем, очень скромном, годы и годы (было пятеро детей) в тот же час уходившем на службу и со службы приходившем. Тут сходства с Андреем нет, но вот за душу меня взяло продолжение: дочь, однажды пойдя в банк по делу к отцу,

там его не застала. Оказалось, что уже семь лет назад отец ее перестал в банке работать. У него была вторая жизнь — запертый дом на окраине Парижа. Там он проводил дни. Бросил службу, выиграв капитал, никому не сказав, в банк его не положив, а держал его в тайнике в этом доме. Тот француз, по словам жены его, ненавидел шум — а дети его были очень шумны, и мать унимала их еще более шумно. И он нашел себе тихий дом, населил его канарейками, чье пение было не драматично и подчеркивало тишину; у окна стояло кресло, шкаф с книгами: романтика и фантастика. Обстановки не было — почти льгота. Но на несколько вещей обихода, ему милых, довлевших, он истратил большие суммы — свое право на эту роскошь он себе подарил. Так он жил в одиночестве две трети своих дней, а одну треть молча в семье, ее не разрушая, кормя, но душу свою питал в ином месте.

...Был ровно месяц нашего пребывания в Кокчетаве, когда мы с Ритой кончили учебник 5-го класса немецкого. За десять дней! Мы открыли 6-й класс.

Сердце падало: скоро начало учения в институте, скоро Рита перейдет в общежитие — и я уеду в Москву? Как я буду там жить, оставив ее впервые одну, без семьи, с чужими? В болезни косолапую и наивную в медицине, никогда не жившую без матери и меня, беспечную и небрежную?

Три дня спустя конца экзаменов Риты пришла телеграмма о смерти моей 83-летней сестры Лёры — в одиночестве, в нашей родной Тарусе... Мой Андрей в детстве знал ее, в детстве и в юности. Вот из его мне письма в Кокчетав: «Нет слов выразить Вам сочувствие о смерти Вашей сестры. Вы, мама, герой» (далее шли слова благодарности и уважения за то, что я осталась с Ритой — с молодым ростком, только еще начинающим жить, — выбрала этот долг, пожертвовав долгом тем).

Последнее лето Лёры совпало с моим напряженным летом с Ритой и Олей — в Павлограде, Москве и на Балтике и с приездом из-за экзаменов в Кокчетав. Тут я девочкам была нужна полноценно. Бросить их я не могла. Я старалась устроить Лёре женщину, друга — не удалось. Я писала ей, что в конце августа, освободясь от Риты, тотчас к ней приеду. Она скончалась 17-го, в день последнего Ритиногo экзамена. В предпоследней открытке мне (как я счастлива этими добрыми словами, прощальными!) она писала: «Милая Ася, я очень благодарна тебе за посылку, за хлопоты». И «желаю твоим девочкам всего самого хорошего. Вы там делаете все возможное, делаете дело, молодцы. Твоя...» — подписи имени не было. И в последней открытке: «Лежу. Слабовата пока. Что будет — не знаю. Не думаю (еле видно, карандашом). Розы, флоксы украшают оба входа кружевной листвой...» Верна себе — еле держала карандаш, но писала о любви: оно (цветы, зимой — вышивки, выдумки рукоделия) составляло нерв ее жизни... кошек любила, как все мы, — без нее они осиротели... Место Лёры пусто на свете, эту пустоту я все время чувствую. Рита, юная, иная, здесь не может мне облегчить. Она облегчает — собою: входит — молодая, моя — это греет. Но пугает ее резкость. Часто кричит, грубит, и я вспыхиваю, кричу. И близится мое второе горе — уход первой по близости после Марины и Лёры — Маруси моей, Марии Ивановны Гриневой, второй жены Андреева отца, — 52 года дружбы... Она — при смерти. И я их года три назад подружила... и обе они...

Я жду скорбной вести каждый день, она уж давно мне не пишет (писала все эти 50 лет, если не вместе жили...). Эти два ухода (второй, без меня свершившийся) отняли какой-то еще год назад бывший свет...

...И все нет времени сойти на два «квартала» ниже лавки (где покупаю продукты) — к озеру! За два месяца всего — три раза: с рыбной ловлей сына во второй день, один раз с Ритой — постояли у левого гористого края, поговорили с молодым художником (видно, Рита понравилась, не переставал говорить, и было жалко расстаться), и в третий раз — вечером, с Добрым Духом и его женой, будущей преподавательницей Риты (английский), — но был послезакатный сумрак, трехлетнюю Леночку, вылитый портрет Доброго Духа, облепили комары, и мы тотчас же ушли, ничего не увидев. Озеро нам — в нашем по горло занятом дне — панорама издалека, смена цвета его далекой, манящей — и не дойдешь! — полосы.

И пока я пишу, там, может быть, умирает мой самый преданный друг, 76-летняя (знала ее с 24-х!) Мария Ивановна, Маруся... Она бы, может быть, прорвалась ко мне, если б я... Полтора года назад она мне: «Ты не бойся ослепнуть! Я тогда тебя заберу и все буду тебе делать...»

Самый бессребренный человек. Кому-то нужны деньги? У нее (последние) 5 рублей. Вынимает, не задумывается... Я бы дала два, ну, три, себе бы что-то оставила... она — нет. И она — умирает...

До устройства в общежитие оставалось четыре дня. Кончив 5-й класс немецкого, мы пошли искать слесаря — ключ к замкам Ритиногo чемодана. Безнадежно: «бытовые» конторы неведомо где, переехали не уловимы. Истомясь по жаре, встречаем белобрысого — думали, еврей — нет, татарин. Думали, ловкача — а «ловкач», согласившись помочь, дав свой адрес, починив все, велел брату «отдать — придут», не сказав цену, и брат отдал и чемодан и ключи, и, когда мы на другой день зашли уплатить, мать-татарка чинно повела к столу, угостила, а сын заводил татарскую музыку, узнав, что я ее очень чту и люблю с дружбы моей (1919 год) с Ягьей Эфенди (феодосийский скрипач), и насилу взял рубль, а когда сделал дверные ключи к комнате общежития, переделав (от вора) замок, среди ключей трем девочкам был один, где он выколол «Рита»... Мать звала заходить, счастливая мать троих сыновей... Чистота в доме их — нереальна!

Всех ли так, как меня, вела жизнь через смену богатства и бедности? (И если понятие первого в моей жизни было умеренно, скромно, то воплощение второго — наоборот, коснулось уже нищеты.) Но я не о материальной стороне вопроса, а лишь о психологии того и другого. О том, с какой легкостью я переходила от (всегда недолгой) возможности щедро тратить — к крайней экономности трат. О том, как дома я всю жизнь была и в том и в другом. Как безудержна в покупках, подарках, весела в процессе тающего содержания кошелька — и как скрупулезно, осторожно умела в необходимости прожить на такой минимум, на какой немногие бы сумели.

Переход этот биографически имел место немало раз. Имеет и ныне.

Пока я пишу, на мой лист влез пружинными движениями сегментов светло-зеленый — как хризолит на солнце! — с темно-зеленой головкой червячок (ела яблоко). Таинственность появления и тишина, с которой он двигается, бесстрашие (он так мал, что не видит меня, не соразмеряет нас!) вмиг наполняют меня неким трепетом уважения, осиливающим отвращение. Любование, касанье к неведомому, к священным разновидностям жизни. Спеша, чтоб он не уполз (заползает в рукав — неприятно), чтоб не увидела Рита (закричит и раздавит...), встаю, быстро и бережно выношу в сени (замок уже

висит, во двор доступа нет) сбрасываю его в уголок, где сор, бачки, — он найдет себе некий «дом». Содроганье всю жизнь от, должно быть, человеческого безумия? Большинство, бездумно взяв право уничтожить, только и делают, что давят, хлопают, убивают — то, что могло, не будь их, жить... Чудовищно! Продолжаю. Что же из двух мне ближе? И даже не договорив, — конечно, второе, бедность...

Рассужденье сие — не случайно, не праздно (хоть и в праздности оно имеет право на), ибо непраздную! жизнь: первый месяц прожив «широко», то есть не считая трат, пришла к моменту, когда деньги мои иссякают и надо все точно записывать и рассчитывать, чтобы дать родителям Риты итог суммы, ей необходимой на жизнь. И сразу я — о себе — à quatre pattes!4— знакомый чертеж бедности (может быть, и нищеты). Сразу становится ценным и дорогим каждый кусочек. Рите в суп — картошку, капусту, морковь; луковку для поджарки в масле. Себе — крошечка лука (на дешевом растительном — лишь бы капельку пахло приправой, — и то весело, хорошо!). В ход идут в мой суп все очистки от огурцов (роль картошки, ибо она пока — роскошь, за ней надо ехать на рынок и ее оттуда тащить, да и недешево). С дна кастрюли бережно — начавшую пригорать вермишель — две столовых ложки, — ее в мою миску, где варятся огуречные шкурки. И, поджарив крохи лука, получаю вкусный и почти даровой суп!..

Покупаю себе то, что всего дешевле. Корки (зубам жестки) — в сладкий чай. Поразительно дешево можно жить с лапшой, вермишелью; ополоски бутылки из-под кефира — белое, приятное на вкус питье. Драгоценностью-радостью предстает яблоко. Целое яблоко... Стакан сладкого чая цедится (как вчера не цедились), как веселый нектар.

Почему такое — мне так естественно, так возбуждающе — мило? (И противно — другим?) Никогда не чувствовала права на первый сорт, скажем, фруктов: он — тем, кто слабее или глупее меня, — людям больным — или пустым и чванливым. Тем, у кого нет ничего за душой, — они существуют покупками, правом на первый сорт. Мне — хоть четвертый, и то спасибо! Разве сытость (чем бы то ни было) не есть уже праздник? Мы с жизнью — свои люди, сочтемся! Счет ей не предъявляю! Да и как забыть годы голода? Тогда это же была очевидность, это всё! Прошло? Нет, не прошло — вечно живо! Твердо и навсегда — мое. Оно — истина. И как мне жаль — всех!

...Соединенье во мне раздражительности и терпенья! Муки дня. Узость двери; веревка, которой (при открытых днем сенях) завязывалась дверь. Болтается под ногами и качается на ней котенок! Черный шнур змея по полу (от электроплитки). Спотыкаюсь. Воду держу в литровых и пол-литровых банках — то и дело их наливать, и то и дело тухнет спираль. Часто еще у хозяев выпадает из розетки вилка нашего провода — тогда тухнет и свет, и плитка. Иногда это случается, когда их нет дома и заперто. Тогда у нас прекращается «все».

На кого сердиться за подагру, боль в сердце? Надо лечиться, терпеть и просить судьбу, чтоб — не хуже. На Кокчетав сердиться за неудобства? На милый мой Кокчетав? Это — как сердиться на Шарика, что своим боем с цепью, лаем — мешает спать. А кто же Шарика пожалеет? Кто Кокчетав пожалеет? И где, когда было без муки? Мука — закон вещей. У Шарика белые перчатки на лапах, весь элегантен, а лезет в такую сломанную, серую, старую будку. Не замечает! У него надо учиться жить...

Рита болела, и я пошла в ресторан «Север» за обедом. Я прошла, как уж не один раз, в узенькое отделение за обеденным залом. В прошлый раз милая девушка отпустила



мне еду, но был уже не обеденный час, не «столовая» — час после перерыва, и столовая превратилась в ресторан: тщето стояла я в очереди из трех человек, меня оттирали подгулявшие граждане, выйдя из зала, торопя шампанское, они шли к моему окошку. Официантки у окошка получали талоны, расплачиваясь за них деньгами из открытых карманов белых нарядных фартуков. Блеща злыми подкрашенными очами с лохматыми от краски ресницами горделиво кидали им назад: «Садитесь за свой столик»... и, облив пренебрежительным взглядом меня, старушку, точно окатив кислым соусом, зло праздновали свой час красы и власти в этом царстве питий, яств, денег. Тщето молила я об обеде для больной — не звучало. В мире шампанского и антрекота — больных нет. Тогда, увидав что-то похожее на заведующую, я обратилась к ней. «Хорошенькие дела у вас тут! — сказала я загадочным для старушонки тоном. — Ходишь-ходишь к вам обедать, пока здоров, а если человек заболел — вы ему не отпускаете обеда! Сколько же можно ждать?»

Голос мой, как струя сифона обдав ее слух, прозвучал: такой тон котировается.

— Сейчас, мамаша, сейчас отпустят! — мирно отозвалась та (да и в самом деле, старушонки-то бывают разные, кто их знает, этих старушонок... Может, какая-нибудь подружка Мариетты Шагинян, которая везде борется за правду и, если что не по советскому закону, до самого ЦИКа дойдет!..)

И мне отпустили обед.

А я, хоть и не подружка Шагинян, потому что встретились мы с ней всего четыре года назад, но вот только потому, что поздно встретились, — не удосужились быть подружками, зато с первого же разговора — все сердце мое в ее пыл, в ее нестарухины повадки, в ее одинокое житье с внуком, у нее отобранным (впрочем, жалко отдать — но внук...). С ее ездой по всему миру — в 77 лет! — ее острыми, зоркими, мужской хватки газетными письмами из всех стран. Все сердце в ее тон, когда пишет о Петре Первом. Маринины стихи вспоминаются о Пушкине:

Прадеду — товарка:  
В той же мастерской!  
Каждая помарка —  
Как своей рукой...

В ее девичье, верней, юношеское еще озорство, в ее огненные глаза и маленький (мал золотник, да дорог) рост. И ее чайники! В кухоньке их — зоосад, кунст-камера! — перегоревших, скореженных (ее! огнем, когда) — и это неисцелимо, ибо сие не болезнь, а здоровье! Увлеченная беседой с пришедшими к ней, она забывает о поставленном чае — и вот еще один образец огня в кунсткамеру ее огня, Шагинян Мариетты!..

В 66-м, когда наконец после моей публикации в «Новом мире» состоялась наша настоящая встреча и она, читая продолжение моих воспоминаний, увлеченно говорила о необходимости их печатать и кормила меня тортом и чаем, случайно вскипевшим, я пожалела о том, что в 62-м году, на вечере Маринино 70-летия, я не поняла, какая она, Шагинян. Было так: внизу, где всех не впускали, хоть и были у нас пригласительные билеты на вход в зал Дома советских писателей, осажденный безбилетной толпой, сдерживаемой милицией, я стояла, с горькой иронией глядя на суету посмертного признания, Марине ненужного 21 год спустя после дней, когда из этой толпы не было с ней ни одного человека, близкие же отняты были! И тогда я услышала негодующий голос: «Нас не пускают! Старый президиум! А какие-то без прав — проходят!»

Я оглянулась: возле меня стояла маленькая, плотная — но как металась! — подвижная старая женщина — не старуха! (старухи лежат на печи и бродят с кошелками!), — и по ее взволнованному лицу, темноглазому, восточного типа, шли глубокие складки негодования.

Мне стало тепло — жаль обиженную.

— Ну зачем вы так волнуетесь, — сказала я, — у меня такой же пригласительный билет, как у вас, я — сестра Марины Ивановны, меня же тоже не пускают — но пустят же!

Но она не слушала. Так шумели, милиция оцепила входные двери, ничего нельзя было разобрать, меня оттеснили. И когда, после прихода директора, ставшего в вестибюле и отрывавшего подходившим добавочные билетки от рулона, похожие на трамвайные, нас впустили наверх в зал, там, в фойе, ко мне, сестре Марины, подвели ту взволнованную внизу старую женщину, и она оказалась Мариеттой Сергеевной Шагинян. Но уже начиналось что-то на эстраде, и нас опять разъединили шедшие на места люди...

Я выходила из ресторана, неся обед.

Уже выводили кого-то, нашампанившегося. Другой наглец фамильярно болтал с официанткой в гофрированной наколке, со сверкающим маникюром и кольцами; другая хохотала, ловко неся четыре графина вина. Их головные уборы, как оперные кокошники, были жутки в этот пьяный и сытый час. Я вышла из ресторана в счастье ветвей.

Был конец августа. До переезда Риты в общежитие (далекий от меня и от института серый пятиэтажный дом по улице Маркса) оставалось два дня. По уговору с Равилем (тем гостеприимным татаринном-слесарем) мы на следующий день должны были получить ключи от ее с подругами будущей комнаты общежития. Рита, ложась, занималась немецким. Еле урвали мы время побывать в библиотеке на тихой безмагазинной улице Кирова и, пообедав, возвращались домой в автобусе. Но, как всегда, села там, где «инвалидные» места, спиной к водителю, Рита стояла передо мной. Был жаркий день. Внезапно и Рита, и все рядом стоявшие качнулись резким, заводным движением вперед, назад — снова поклон вперед — лицо Риты, только что бывшее много выше меня, оказалось на уровне моего лица, она и все вместе с нею стоявшие кланялись и отлетали вверх и назад. Сиденье, с которого я не вставала, затрясло, кинуло с треском и грохотом вниз, вверх, судорожно соблюдая свой тайный ритм в подневольности происшедшего. Может быть, я ошибаюсь, что не кричали люди? Испуг отнял крик? Описанное десятком строк длилось мгновенье! В мозгу что-то вроде: «Авария! Будет хуже? Набок?». Но ощущения страха не было. Нас трясло, кидало как будто в яму и снова подкидывало, что-то стряслось с летевшим автобусом, но он летел, не падал, и, должно быть, я это поняла, потому что потом оказалось, что я сказала Рите: «Не бойся, не бойся...» — в мгновенном осознании, что — пройдет! Не хуже — значит, оканчивается... И в резком толчке все вдруг с размаху остановилось. И тогда (или я до того не слыхала?) поднялся крик. Очень кричали дети. В опасении, что будет свалка от желанья всех выйти в двери, я громко сказала:

— Ну, что кричать, когда кончилось? Остановились же, давайте спокойно выходить!

Девочка лет десяти и, заглушая ее, все кричали... Рита ли вышла, я за ней? Не помню. Обе створки сломанной двери отлетели вперед, вверху еще держались, и кто-то, думала я, их придерживает. Что их отламывали — я поняла поздно, и меня левой створкой ударили по плечу. Но, должно быть, не сильно, потому что боль не перевесила того, что

было кругом. Откуда появились медсестры?

— Кому нужен йод? — кричала я, вынимая из сумки флакончик с винтовой пробкой, который всегда со мной, как и парный ему — с нашатырем, — и уж женщина подставляла раненую в кровь ногу, и еще кто-то шел — кровь на руке, и кому-то я лила на колено. Все говорили разом. Старик просил медсестру сказать по телефону жене его, что он больно ушибся, в ребра и в руку, и рука его уже была перевязана (а он только что к медсестре подошел). Это было, как бывает во сне (он шел домой с перевязки). Я совала медсестре йод, она выбежала с медпункта без всего. Потеряв из виду Риту, я вела старика к подъехавшей карете «скорой помощи», где кому-то уже перевязывали голову — ранение возле уха. И все радовались, что нет жертв. Говор был громок, разноголос, все толклись и вертелись, и стоял спор о причинах случившегося и о том, чья вина. Рита, увидав меня, подошла, возбужденная, бледная, повторяла: «Я очень испугалась. Я видела: справа из-за поворота на нас налетел грузовик. Он толкнул нас, и мы перелетели дорогу и попали в левый кювет и снова полетели назад, в нашу сторону, и — в правый кювет... Я все это видела — понимаешь, я же стояла — лицом. Меня и сейчас трясет! Мы на столб налетели — видишь? Если б не он — мы бы...»

Тут только я увидела, что под ногами — пополам сломанная, вывороченная автобусом бетонная труба, над нами косо наклонен столб и висят порванные провода, а перед автобуса (кабина водителя — то, что было прямо за моей спиной) отошел вбок от машины, как поднятое крыло жука.

На обратном пути, то есть домой, с нами ковыляла девушка с распухшим коленом, я мазала ее йодом и, остановясь, убеждала пойти сделать укол от столбняка.

...Оттого ли я мало пережила аварию по сравнению с Ритой, что она видела происходившее, а я, сидя спиной, нет (и ее, стоявшую, резче кидало, чем сидящую меня), или в 72 года человек более вял, чем в 18?

Но Рита пролежала весь следующий день, и я одна поехала в общежитие на встречу с Равилем и с девочками (Риммой Рабинович — горбоносой брюнеточкой, приветливой и оживленной, и русоволосой тихой Ниной Герман, немочкой). Равиль приехал на велосипеде, сверил все, взял с нас мало — «чего со студенток взять», я благодарила и передавала привет его матушке, и тогда-то на столе оказался ключ с выгравированными буквами «РИТА»... Трогательно приглянулась ему Рита! Рита завтра уйдет от меня в общежитие, впервые оторвется от дому, в первый раз ляжет спать не через стену от матери (зимой, летом — в первый раз не со мной). Рита завтра вместе со мной перевезет свои вещи в чужую комнату... До конца этого осмыслить — нельзя.

И вот снова я на холме. Вчера, усталая от укладки с Ритой ее вещей, варки, мытья, раздиранья надвое нашего бедненького хозяйства (две кружки тебе, одну — мне, термос — тебе, новую плитку — тебе, мне — старую, ложки-плошки, банки, лекарства, столовый нож — тебе, мне — перочинный), от малого сна, толчеи, я, раз съездив с Ритой с сумками в ее общежитие, во второй раз, с легоньким чемоданом, пустила ее ехать одну: вечером поедем еще раз вместе, надо беречь силы, сердце немного болит. Мы стоим у нашего дома, перед пологим холмом, ей — вниз, мне — вверх (в дешевую столовую, где ей не нравилось, плохо готовят, а мне — сойдет), уговариваемся. Целуемся, она шутит (чтоб меня ободрить), а я, отупев от усталости, старости, даже не ощущаю, почти, расставанья. Умом говорю себе: вот она и уходит, вниз по горе, одна с чемоданом — и я смотрю вслед. И иду — есть (ей — кефир), и чтоб скорее лечь, хоть на полчаса. Это было вчера. Сегодня

— совсем другое. Я ее проводила вчера, они рано ложились с подругой, и я в сумерках, пройдя кусок до и другой — после автобуса, вернулась на свою гору. Было 31 августа, день Марининой гибели — 25 лет! Я села хоть по несколько строчек окликнуть ее дочку, Алю, и близких друзей. Черная кошка, наш с Ритой друг четырех с половиной недель, спала на постели; потом — ушла. Я легла, стараясь радоваться, что Рита с хорошими девочками на чистой постели и спит. Потом была ночь и сны. А когда я сегодня встала — тоска, да такая, какой не ждала! Не в первый раз мы с ней расставались с детства, но такого еще не было. Больше четырех месяцев мы прожили неотрывно, и важные события ее жизни спаяли нас. Я ревела, как баба по новобранцу, и не понимала, как могла вчера с ней на этом холме расстаться, дать ей уйти, а сама повернула в столовую, убрать хорошо комнату, лечь спать?..

Обогнув холм, я сошла за кефиром Рите, но столовая была заперта. Был синий прохладный день, гряды облаков, ниже — крыши города. Мой холм лежал коктебельским родным очертанием, и впаянные в него метровые камни, крутые, побезжалых тонов, были как Киммерия. И была тишина. В жесткой траве, похожей на шерсть козы, цвели меж низких полыней лиловые низкие цветики. И каждый раз рву их маленькую охалку, но прежних нельзя выбросить, они сухи и не увядают. Я иду и люблюсь камнями, их сросшестью с пейзажем, тем, какие живые они — как в сказке. И каждый — неповторим. Вокруг них — обломки таких же, они в миниатюре, розоватые, белые, рыжие, остроугольные. (На столе их у меня — уже кучка.) Никого. Как сладка тишина! Волосы с висков отмело легоньким ветром. Печаль расставанья с Ритой кто-то точно гладит рукой... Поднялась, выхожу на дорогу. Блеск осколков стекла разбитых о камни бутылок резко нарушает тишь холмов. Точно кричат голоса. Для чего было бить тут бутылки? Их же можно помыть и — продать. В какой злобе...

«Это — Каин, — думаю я, — обходя острые светлые днища, пышущие остриями. — Каин, бьющий и бутылки, и камни. Ненависть! А то, — я оглядываюсь на каждую пологость холма, на пахнущую Коктебелем полынь, невянущие цветы, скромными звездочками лезущие из сухой земли, на разноцветные горки камней, тоже из земли вышедших, — это — Авель...»

Я спускалась домой.

Жизнь так добра! Можно ли было поверить, что мою тоску одиночества что-то исцелит? Ее исцелил приход Риты. Ее смех, ее ласка, объятье...

— Баб, я по тебе скучаю! Ну, зачем же? Не плачь, не плачь...

Вкусный, заботливо (мало денег) приготовленный ужин, радость, что человек жадно ест, хвалит. Уют еды, рассказов о ее новизне, о первом дне лекций...

Рита, кончив уроки на свой второй день лекций, спешила скорей к девочкам, я пошла ее проводить до автобуса, уж темнело.

...Я не знаю, когда это началось. Еще при Рите? Или когда я вернулась? Когда я вышла из столбняка чувств, потока усталостей? Может быть только тогда, когда кошка, войдя, захрустела остатком мыши?

Научила смиряться со злом? Потому, что кошка и мышь — это штамп.

Рита приходит, я кормлю ее и с ней занимаюсь, вхожу в знакомый мир нашей с ней жизни, спешка помогает отвлечься, я радуюсь ей, ее жизни с подругами, ее первым шагам в институте и общежитии; пользе, какую стараюсь ей принести.

Маленькая, белая, низкая, бедненькая комнатка, где мы так дружно, в общем, прожили более месяца с Ритой, мне кажется, пробует по-своему утешить меня — тишиной, тойжесамостью, что была в пору горячки экзаменов, белизной, отдельностью от дома хозяев, черной собакой Шариком (у него белые лапы) и черной (белые волоски под шеей, не годится для колдовства) кошкой.

Печкой (поставила ее ножку, сломавшуюся, на опрокинутую жестянку — горит).

Грелкой, — холодно, положу ее в постель под ноги. Может быть, кошка придет. В доме хозяев все спят.

Все так же бьется о свою цепь Шарик, внезапно много раз в день кидается на нее, рычит, яростно-хрипло лает, грызет, отбегает на конец, натянув ее, — и оттуда внаскок — к столбу, где она вкручена, шерсть дыбом, бьет лапами — как мучается! Не сдается. Но никто не может ему помочь. Только Рита тайком (я — не решаюсь) отпускает его длинней, и он бросается по недоступным ему местам двора — более широкими кругами. И я думаю о том, что никогда до 72 лет не видела такого с собакой.

Я отодвинула белую низенькую занавеску, в комнате просветлело, жестяную терку на стенном гвозде окатило кипятком серебра. Как я во многом себе потакала, спускала петли, боясь перегруженья в моем суровом нагруженном дне.

Приходила Рита, каждый день занимаемся, я кормлю ее и тоскую, прощаясь. Я приехала в их дом перед ее рождением, рассталась затем на два года; с ее 4 до 7 лет часто виделись, с 7 до 12 — жили в одной комнате, с 12 — все лето вместе: Москва, Вологда, Малоярославец, Таруса, Ленинград, там — дома моих старых друзей, и шесть раз поездки в Палангу, на Кенигсберг, Клайпеду, Либаву, Кретингу, и всегда Москва и Таруса, английский и французский языки. Два раза, в ее 8 и 9 лет, с нами ездила Олечка, уж начала английский, играет, я им послала пианино. И Рита училась играть. До ее 9, до Павлодара, жили с ней под Вологдой, в Сибири, в Башкирии, в Салавате, ездили с ней в Уфу.

Скоро в Москву. Как будет мне без нее одиноко... Снова большой город... И асфальты всех будущих моих городов...

Мирно, как прежде, кричит петух. Я радуюсь, что тепло, добрый синий денек, я пойду по солнышку в магазин, возьму дешевых овощных консервов приправить нам суп и, может быть, Оле найду авторучку, она ей обрадуется. Спуск по горе и вправо к автобусу по безлюдной теплой улице с ветками и низенькими домами — ласков. И сегодня пойду в ту дешевую столовую через полынный холм. Она бы тоже могла радоваться сегодня солнцу, отысканию какой-то еды...

Не за то ли терпенье, с каким месяц переступала через змеиные кольца непомерной длины шнура Володиной плитки, судьба мне послала, во-первых, окончательную ее непригодность и, во-вторых, адрес хозлавки, где есть плитки — не за 11 рублей кошку в мешке, закрытую, — открытую, за 2 рубля 40 копеек! И запасные спирали... Своя! Горит розово-малиновым цветом, не гаснет, и все вмиг закипает... И не спотыкаешься через черное чудище в палец толщиной под ногами! Шнур вчетверо тоньше, и, хоть несколько короток, плитку можно ставить на табуретку, и шнур не преграждает тогда путь к двери...

А лавка, где она жила до меня! не магазин роскошного образца фигли-мигли, а

добротная тарусская лавка моего детства! Там пахнет рогожами и замазкой (и была женщина, пошутившая о комке ее, брошенном на весы, «халва!» — это тоже подарок, я всегда сравнивала замазку с халвой, только не записала...). И по той же отдаленной улице — другая тарусская лавка — из сна: съестная, низкая и уютная, пахнет хлебом, вареньем (не унюхала каким!), и такой компот, сухой — местных яблок и груш, мог быть только в такой лавке: один вид их, кургузо накромсанных, толстых и темных, подает в рот их вкус, и навар с них — густой, коричневый, кисло-сладкий, как квас в жбанах, а не песочного цвета дорогих компотов городских, сладеньких или кисленьких, малосильных... А вход в лавку? Сени — деревенские, с окошком, и под ним — коротковато лечь, но непременно, согнувшись, ляжешь — широкая скамья — просто рухнешь в усталости (и кто-то уже спал, спит! — подушкой «под голова» — мешок с зерном; видно, чудно бы тут прошла ночь, под зипуном, и сны бы — невесть какие... Бывают же чудесные дни!

...Хоть несколько коротко я написала про новый шнур, но судьба спасла! Я ее, плитку горячую, не тронула с ее места на краю печки — шнур, вместо тех змей на полу, натянут был как струна, и, забыв о нем (тонкий, в моей близорукости он отсутствовал), я, идя через кажущуюся пустоту, сорвала — не вилку из розетки, а плитку с края — и — какая удача! — плитка повисла на шнуре, мною, в испуге, подхваченном, а глубокая (эмаль!) тарелка с макаронами (в той лавке купленными) ловко и добро, как стала вниз дном, упала на место плитки, и все цело — еда, плитка, — настоящий цирковой номер!

Шли по улице (явь), Рита и я. И лежал в колее башмак, заскорузлый, как колея, — и один.

— Опять, Баб! — сказала мне Рита.

Я давно ей сказала, в детстве еще: сколько ни ходи, не встретишь двух выброшенных вместе, а по одному всю жизнь будешь встречать — туфля, калоша, мужской ботинок, женская, домашняя... но эту тем, незаписанную, я еще, может быть, когда-нибудь подыму. Я ее с 1933 года хочу посвятить Чарльзу Лэму (очеркист XIX века). На днях в невообразимом скарбе в мелкой яме посреди Чапаевской улицы (пружины, сломанное колесо, проволоки, жестянки) был башмак взрослый — и, к нему прижавшись, детская парусиновая туфля, рваная. Но кажется мне, что один раз, несколько лет назад, я будто увидела вместе два парных башмака! Но (если это была явь) это было так удивительно после десятилетий обратного зрелища, это местестоянье вне дома их было так поразительно, что я глазам не поверила, и, может быть, потом это показалось фантазией, — и, может быть, это и не была явь... Во всяком случае это бы разбило всю тему сужденного одиночества выброшенного башмака, — и, раз у меня нет уверенности в разбитости темы, я ее все-таки воплощу и подарю памяти.

Рита свалилась в гриппе — у меня, и три с половиной дня мы опять жили вместе. И хоть я очень устала (уход за больной плюс хозяйство и тасканье всего по горе) и ничего не писала, но я была счастлива тем, что нужна, тем, что уют, иллюзия семьи, единенья (вместо того одиночества, которое я ведь люблю...). Но как любят холодную воду: целительно — бодрость — активность. Мужество. Но есть ведь в душе и обратные свойства, они тоже желают — жизни... Странно, что при такой энергии, выделяемой при хозяйстве, служении другому, уходу за ним — трудному же! — это все же не актив, а пассив — блаженство согретой воды...

Внучка Олечка три последних года плакала, прощаясь со мной (шести — девяти лет).

— Ты меня больше любишь! (Рита).

Я Олю тоже очень люблю. Дикарочку, невоспитанную. И в семь лет так плакавшую над Рустемом и Зорабом. Мне: «Бабушка, какую мне мама книгу читала? Такую печальную, я хочу ее выучить наизусть» (Песнь о вещем Олеге). Золотоглазочка... В шесть с половиной лет детонировала, а в семь — через месяц после начала! — играя, точно обводила голоском каждую ноту! Вглотнула бемоли, дизезы, бекары и паузы; басовый ключ — как свое, родное. Через два года так сыгравшая свои пьески в семье Бек, что старые упорные немки ахали удивленно над чашками кофе...

...Осень! Холодно — как только солнце — за тучу... Закат. Иду быстро, впереди — холмы, низкие. Да, холмы лучше гор. Горы — громоздкие, никуда не зовут — давят. Холмы — и в них уходящая дорога. Почему молодежи при виде холмов? Потому ли, что холмы — Коктебель, мои с Мариной 1911-1917 годы, без нее 1919-1921-й, или потому, что дорога между холмов — это *Wanderjahre*5, дали — манят, дорога зовет — идти... Хоть на палочку опираясь (пока еще не опираюсь, чеканю шаг — тростью! Но близок день — обопрись...) — но идти — как дышать! Идти!..

Цветаевское, в крови (папа любил ходить! Задумается и идет, и мы две рядом, по Шварцвальду, по Саксонской Швейцарии, 1905-й, 1910-й годы...). Маринина «Ода пешему ходу» во мне продолжается, хоть настал 78-й год!

Иду. Три дерева: одно густое, зеленое, мощное. Рядом — почти совсем облетевшее, выше. И третье — ярко-желтое, с зеленью — что-то в нем — от костра...

А позже, когда уже при луне проводила к автобусу Риту (переутомляется, мало спит или чем-то печалится — скрытная, не скажет...), иду, сама пригорюнившись о ней, с чем-то трухачевским в судьбе? в свойствах... захолодев от ее холодка, brusqueriaб, оттолкновения ее (порой — а порой тянется к ласке...). Как пойдет жизнь? Господи, сохрани! То место, где два месяца назад был прудок и где так долго потом в жару было сухо до треску, пустыня (писала ли?), где утки плавали, — ходят куры, будто «с того света» глядишь — сегодня, после ночного уже, осеннего, холодного дождя — озеро! Длинное, черное, тихое, и в нем, как в зеркале, повторен, опрокинулся домик с освещенным желтым окном. Иду, жду, когда отразится луна, — и вот идет блеск, слабый, искры — столбиком. И вдруг — всплывает! Две голубых луны! Еще десять шагов — и под другим домом, отраженным одни абрисом тьмы в засветлевшей луной водной глади — звезда. В небе она совсем низко над крышей. В воде — прямо под крышей, точно выпала из нее в воду. С подозреньем: что-то она так ярка? Может быть... какой-нибудь — сателлит?... Мимо!

Из первой стипендии Рита мне к моему дню рожденья принесла чудную трикотажную темно-голубую рубашку и коробку рахат-лукума!

— Искала тебе часы-кукушку, нет нигде... — Это после того, как я ей накануне сказала, что денег со стипендией хватит до новых от отца ровно-ровно, в обрез! Трухачевская и цветаевская широта. Но какая другая — душа? Или что? Кровь? Кровь, наверное... Несколько дней поест то же самое — уж не надо. Если в городе есть груши — только они нужны (дорогие), сразу не надо яблок — хочет только во всем (в одежде,

обуви и в еде) — первый сорт! Нет, это не «важничанье» — это «такое» природное, обратное моему... страсть к скромности, во всем этом — радость о заплате на башмачке, с детства.

Но вчера в первый раз, может быть, так четко я почувяла в Рите, в ее внезапной (мне) тоске, молчащей и неутешной, то трухачевское начало, которое пылало ледяным огнем в ее молодом деде и сквозит в его сыне, ее отце. И почудилось мне кровное сходство с Марининой юностью — неутешность.

К ней вчера не было доступа, как к Марине. Аля<sup>7</sup> бы засмеялась надменно: Марина — и Рита! А я — мне повезло: вздох, о коем никому не скажу... И мне захотелось исполнить ее девчонкины блажи (с ними часто борюсь). Глядя в корень на них, я, может быть, — права, но *à vol d'oiseau*<sup>8</sup> — пусть будет хоть этим счастлива! Вот это мое о Рите. Аля очень хорошо поймет — сама мне писала об этом.

В Рите живет — неожиданность, глухо. И в Андрее живет. Борис был — ее воплощением. *Каждый* миг; что делало жизнь с ним невыносимой. С Андреем и Ритой — трудной.

...А сегодня мне снились Кунины, все трое — брат, сестра и жена брата, и так меня к ним кинуло — весь день полна нежности к ним. Но это не тот случай, когда «за сон» — не случайность; знаю, что потому и приснились, что таковы. Будь они со мной не с 66 лет, а с 16 лет — о, как было бы мне — легче. И я верю, что судьба не отнимет их как помощников в «Воспоминаниях», которые и буду писать.

А Але — на несказанное — отведу: отъединенность от всех Маринина — не лично ее. Всех, кто в гордыне романтизма. Лично ее — конец «Искусства при свете совести» — преодоление гордыни. Живи она... выживи — она была бы седой хрусталь. Мудрей всех.

Я несу Шарику консервную банку, едой полную — мутную. Он, исполнив балетный танец ее встречи, возвращает мне ее — золотой, пустой. Перед тем как начать ее — всегда помедлит, затем залает на кур — «не подходи», затем ест. Есть и у собак своя традиция.

А кошка все глубже входит в *Ars Amandi* — научилась ласкаться. Бодается, как настоящий кот. Так 15 лет назад бодалась серая (сизая с голубизной) кошечка Фея в Сибири, соседская, и звалась она у меня Фея Бодалочкина: «Фея» — за то, что всегда появлялась внезапно (ко мне прийти ей значило обойти край хозяйского владения, пройти все владение моего соседа и тогда только войти ко мне.) «Бодалочкина» — за то, как, появясь феино, как призрак, тотчас воплощалась в упругом боданье меня сизой своей (узенькой) головой.

Так и эта безымянная кошечка (стареть стала я, что не назвала ее целых два месяца) — стала настоящей кошкой, женского пола — от ласки. До того она воображала, что она просто кот — для ловли мышей. Был деловой дикарь.

А веревка все так же висит на ручке двери, длинная (скоро ею завязывать чемодан). На ней тигровый котенок качался, его уже нет на свете, а веревка все на двери, и я ею, вместо крючка, все завязываюсь, когда днем ложусь или когда спит у меня Рита. Такой же дверью до смерти пришибли его «в людях».



...Как-то у меня ночью или боля, Рита сказала:

— Баб, мне сейчас показалось, что я у тебя в Сибири, в Пихтовке, на улице Куйбышева, в детстве... Такая же маленькая избушка, печь...

Каждый день, идя за обедом (часть варю дома), я всегда шла по холму — тропинкой. Однажды у нее увидела мертвую белую курицу. Собака? Коршун? Но — нетронутая; в пышном теле ее, бессильном, играл в перьях ветер, и охапка перышек по другой бок тропинки запуталась в низкой полыни. У ближнего под холмом дома играли мальчишки. Я сказала одному про курицу: «Может, ваша? Поди посмотри!» Он выслушал, но игру не бросил, не пошел. Так курица продолжала лежать много дней.

Раз как-то, задумавшись, я пошла не тропинкой, а по дороге, на другой день, по инерции — тоже, может быть, и на третий. Как-то идя по холму — бодрей, встревожилась: почему так хожу? Оглянулась, пошла назад, чтоб — как всегда. Нет тропинки. Я всегда спешу к Ритиному приходу, некогда было начать искать как следует, но каждый раз, хоть немножко, вбок шла, ища ее. Наконец стало ясно: как ни ищи, как ни иди — нет тропинки! Исчезла. Так же твердо, как возражение, что тропинка не может исчезнуть, — твердо установился факт: ее нет. И нигде по холму не видно белой курицы. Пропала вместе с тропинкой.

...Иду и ищу глазами цветные камни: нагибаюсь, подымаю; близко взглянув — бросаю. Или в карман плаща. На столе (в Москве будет жив Кокчетав) уж около трех десятков; больше чем вершка в два — не беру. Как-то, меж травок, земли, неровно и мелко усеянной каменными обломками, загорелось зренью золотисто-розовый камень. Восхищенно нагнулась, а это бумажка конфетная, насквозь дешевая своей легкостью, выдуманностью рядом с той драгоценной тяжестью цветной каменности, которую ее сочла.

...Когда Шарика гладишь и треплешь, он от застенчивости зевает. Заговорив с Анной Ивановной о Шариковом мучении с цепью, как он ее грызет, рвет, рычит, — услышала неожиданный ответ:

— Я и говорю Володе, попробуй-ка потаскай такую длинную цепь на себе день-деньской, да здоровую... Не может тоньше найти!

Значит, укорачивая цепь, они хотят добра Шарикю. А Рита и я, жалея его малую площадь свободы, ее удлиняли, думая сделать ему этим добро...

...В еще лето падают лютые осенние дни. Чтоб согреться, заставляю себя облиться холодной водой.

Каждый день — миг счастья: когда появляется Рита. Жду ее сейчас, потому пишу. Это — мой труд, третье поколение — с Трухачевыми: муж, сын, она... Господи, помоги! Из-за угла кто-то идет (вижу в окно). Нет, не она. Жизнь, ее путь усеян повторением этого: не он, не она, другие... О, это томление! Юность (и детство) и — зрелость. Одна старость — избавление от нет, не так. От того оттенка томления! Но сила — разве не так я томлюсь по Рите, как по Борису и по Андрею? По их ускользящей (а в любви ведь не ускользяют) душе?..

Удивительно равнодушные кошки к бешеной скачке, с рычаньем, на цепь Шарика.

Душевное равновесие. На миг дрогнет кошачье ухо, перестанет лизать себя и опять лижетя: «А, мол, это он! Его дело»...

Выйдя во двор, вдруг: куры-дуры (маленькие, чутошные, когда мы приехали) — как выросли! «Курехи-дурехи, вы же почти настоящие куры!» Стою, закрывшись от солнца рукой. Как бабушка застилась в Талицах, в селе Дроздове Володимирском.

В добрые минуты говорила бабушка Горького своему внуку Алеше: «Ангелы на небесах радуются»... И было это в Горьком: склонит голову набок, смотрит и радуется... Но и дед вскипал: яростный в мелочах, в споре и ненавистный. Борол ли его — или так, как шло? Сложнейший человек, Горький...

Демоническое начало в Марине, отчаяние было сильней, чем во мне. От него она — глохла? к миру? (отъединение). О, конечно, улыбка и тишина володимирские (в крови же) не могли ее обойти. В ней — все было! Но — сгущенней, кратче и реже, должно быть.

Я вообще в несчастной жизни моей была — счастлива! Так и Марина обо мне в 1916 году старику-эротоману Эрдту (о «Дыме» моем) на его «Ваша сестра очень несчастна?» — «Моя сестра очень счастлива...» (с непередаваемой — но она мне ее передала — интонацией надменности и фамильной гордости за меня).

Марина, тогда, в своей более счастливой жизни (меньше разрывов, смертей, утрат, с сохраненным до ее 46 лет ее основным другом Сережей (мой такой был Маврикий, и как она любила его! Но он был со мной всего два с небольшим года!). Марина хлебала несчастность ковшом. Я — глотками... и вот живу... одно провидение знает эти глотки и как взываю о помощи.

Удивительно! Почерк Ритин похож на отцовский (он ее не учил писать, как это?). Но еще страннее, как таинственна кровь!.. — на Борисов, ее деда. Резче — на отца 54-х, но и сходство с почерком деда ее в его 25 лет — явно.

Сегодня, проведив Риту (вынеся с ней бурю за это), шла назад мимо того дождевого пруда. Та же луна голубая, то же окно, желтое, опрокинуты в воде — только над всем этим — большой, узкий и мутный круг. Астроном мне говорил на ДВК — к снегу (к морозу — маленький, радужный). И выходила с ним смотреть в сочельник на небо, он показывал мне рождественскую звезду. И пока я подымалась сейчас по горе, было уже 11 ночи, круг и луна в нем шли впереди и стояли над нашей улицей тяжело и воздушно, как театральные занавес. А на нашем высоком крыльце девушки с молодыми людьми, и пыльное золото звука гитарных струн было равно их цвету. Это мамину гитару они трогают пальцами, все ту же, московских и нервийских лет, без малого 70 лет назад.

Вчера вечером Анна Ивановна пришла к нам со своей озорной (умна!) плаксой Людой и принесли мне букет астр — к рождению, как трогательно! Когда я шла вниз по горе, Люда мне крикнула: «Касеты купить, да?» (конфеты). Иной необходимости уйти из дома она не подозревает...

В моей так любимой комнате — люто сыро: соль мокрая, по сырým стеклам — мокрицы.

Шарик перед едой непременно полает на кур: мое, мол, — тогда ест. От радости — чихает. От благодарности у Молли (собаки Цветковых) чиханье было предвкушением прогулки (при слове «гулять»). Какой-то собачий ритуал. Род восхищенного выхода из себя. И сколько застенчивости в собаках, сколько стыдливости в выражении их чувств!

Когда я вышла из столовой, еще погруженная в прелестную новеллу Андрэ Моруа, небо заново перекроилось: спустились совсем низко тучи и облака темной и светлой путаницей, и то, что мы смешивали обычно в одно — небо и облака, — стало двумя планами: тучи — крышей, а над ней — отступившая глубь, и она была видна только просветами, как обетование.

Я шла навстречу темной туче, круглой, как холм, на который она легла боком, и под косо приподнятым ее краем — египетской лазури просвет. Длинным треугольником меж холмом и дорогой и там, где дорога сходилась вдаль с холмами, — было освещенное солнцем серебро облаков крупными «барашками», какими детстве приходит весна.

Этот бой света и тьмы на землю сходил — ветром, он толкал меня с дороги, пытался снести. Упираясь, я шла, держа на отлете посуду с картошкой, с влитой в нее сбоку сметаной, думая о землетрясениях Ташкента, об ураганах, кидающих людей о стены домов.

Задохнувшись, встала: вправо — город, и под острым лучом меж нахлобученных туч — крыши лежали оловянными пластинками блеска далеко внизу.

Отдышавшись, я вышла на поворот, где наверху холма дорога идет несколько шагов ровно — перед тем как начинать рушиться медленным рушением — вниз. Как подвинулась стройка соседнего с нашим дома — взнеслись пологие стропила, и там, где был конец, оказался второй ряд комнат, намечен редкой обвязкой и глиняным месивом, уже принявшим форму до половины намеченных окон. Спешат — к зиме.

И в открывшемся — мимо стройки, внизу — пейзаже — «настежь», как у Бориса Пастернака о выходе в открытое море, озеро! Черным морем — свинцом, в час норд-оста.

...После такой жары (блаженство тепла, окунувшегося в медленный перегиб муки от солнца) — такой холод! Летнее пальто (с ним одним приехала), только что бывшее мне тяжелым, стало ничего не значащим лепестком. Надеваю на себя все что можно. Ночью кутаюсь и дрожу — и беспрестанно жгу электроплитку, круглую, как розовая луна. Это — отъезд летит, не званный еще мною, и еще не могу: не прописана, недоустроена Рита. Как с ней расстанусь?

Анна Ивановна была на работе (сутки), мне не хватило воды. Пошла к ним. У дверей, перед двумя табуретками на скамеечках сидели Володя и дочка: он возился с патронами для охоты, она (лютая крикса и озорница!) чинно играла на своей табуретке куклой. Покой отца передан Люде. Даже нельзя и представить Володю в волнении. И так эта идиллия вошла в сердце — мир двух покинутых, без женщин ночь и день, мужчины, ребенка... Я брала воду, и мы говорили с Володией об их сломанных часах-кукушке, мною желанных по воспоминаниям детства — у мамы такие были...

...Я не написала о том, как в день перед отъездом Доброго Духа я пошла к ним проститься и как оттуда, поехав домой в темноте, заблудилась: шла вверх по улице, долженствовавшей быть нашей, Чапаевской, но в начавшемся сердцебиении не узнавала домов и рельефа дороги, фонари не горят, кое-где в доме — рыжее окошко, кое-где во

дворе — лай. Ни души. Я все еще шла, все надеясь, что вот дом, когда вдруг, ступив шаг какой-то, в слишком открывшемся «не так», «не по-нашему» повороте пути хлынула мне навстречу вся тоска и весь страх «заблудившести», и тогда, гоня себя и боясь спешить, я пошла вниз, моля судьбу вывести меня на дорогу, довести до дому. Начинал моросить дождь... Сжав что-то во лбу, я решала, куда идти, где должна быть та, наша улица. «Сакко и Ванцетти» лежала внизу асфальтной чертой. Я спустилась — прошла! повернула — что-то во все той же темноте, безлюдной и жуткой (а иди человек навстречу или сзади меня — еще хуже...), вспыхнуло снова «вдруг» покоем и радостью: «Наше. Дойду».

Улицы были параллельны, не в ту зашла. Сестры? Да, те сестры из сказки, злая и добрая. Добрая, Чапаева, — наша!

На почте, где нас встречают с Ритой всегда ласково (наше маленькое отделение), два окошка — почта, сберкасса. В сберкассе — Нина, веселая, черноволосая, молодая. На почте — средних лет, белокурая, розовая, спокойная. Так к ним привыкли — и они к нам. Внезапно Нину перевели в Центральную сберкассу, далеко, вместо нее села блондинка, точеное личико — Тамара; улыбается, говорит мало. А однажды, когда я, только усвоив имя и отчество почтовой, розовой, приняла от нее, как часто, пачку писем (получали и переводы, и телеграммы, и бандероли), я увидела, как во сне, что у нее другое лицо; странно изменилась, поблекла, — почему казалась мне розовой? вовсе нет, — и тогда, доканчивая метаморфозу, ее назвали — не так: Варвара Степановна... (и мне — я только что договорила имя и отчество исчезнувшей — шло разъяснение: «Она заменяла меня, временно»). И вот вместо первой пары теперь нас встречает вторая, все будто так же хорошо и приветливо, а в душе — оттенок тоски и какой-то сдвинутости, подмены, бывающей в дурном сне.

...Еду на рынок, по магазинам.

Универмаг. На второй этаж. Спускаюсь — голова чуть не закружилась: как во сне схожу по лестнице литовского универмага в Паланге, сейчас за дверями будет площадь, цветник и собор (готика...). Выхожу: улица Ленина в Кокчетаве, канава, прокладка труб. Стандарт плана универмагов — та же лестница, то же расположение этажей.

На пустую уже после Ритиногo перехода в общежитие кровать кладу ей, больной, свой матрац; под ним у меня — две старые хозяйские телогрейки, пиджак, плащ. Мошусь на них... До сих пор касалась их с отвращением (все живет в памяти завшивленность шинелей и телогреек гражданской войны). Но теперь надо лечь на них — стелю тощую бязевую простыню и ложусь. (Лишь бы не замерзнуть на них! Кладу их уютно, плотнее.)

И снова все — заново! Пока жив — жизнь ключом! Было так: солнце светило в окно не в тот час (с западной стороны, утром!) и неопиcуемо ярко. Поняла не сразу: отсвет с востока, с озера — в окна хозяйского входа, и они отражали солнце не слабее его самого. (За это чту московскую комнату.) С форсом говорю: «Лучи солнца мне не мешают, по комнате не горят, мешая столу, писанью! Но стена во дворе, желтая — рефлектор. И у меня в комнате солнечно (а — на север) в светлые часы».

Тени Шарика мечутся по лучам солнца — через мой тюль на окне (не мой, тюль ненавижу, но тут кротко приемлю: я ведь перекаати-поле здесь) ... Крик петуха. Восемь часов сна, протертые стекла сознания, снова хочется все: писать — готовить — стирать и

идти по синей улице за едой. Судьба послала после лютого холода уныния, замерзания — потепление! И разве я здесь? Я — в Montreux, Territet, Vevey, Neufchatel... в том детстве жизни, где утра просыпаются, как в нашем с Мариной Трехпрудном, с песенки — (как передать мотив?):

Дети, в шко-лу са-би-рай-тесь,  
Пе-ту-шок пра-пел да-вно...  
Па-пра-во-ор-ней а-де-вай-тесь,  
Смо-трит сол-ныш-кавакно...

И после счастливого дня, долгого, непомерно, вечера — ласковость тьмы уютом пала на крутые крыши; сторож с медной доской, ударяя в нее, проходит швейцарскими улицами, зовя ко сну неповторимо добрым напевом:

Qué, bon qué,  
On a sonné dix heures...

И гаснут в окнах огни. Если же где-то горит огонь, сторож идет узнать, не болен ли кто, не послать ли за доктором.

И совсем в этом духе мое здешнее бедненькое чистенькое хозяйство с через силу варкой и стиркой и протираанием пола, с учетом грошей и веселой радостью одоленного, к вечеру, быта... Нынче воду из-под мытья кочанной капусты — вскипятив — себе в чай. Потому что воды не ношу, а платить — нечем.

Считая гроши, терпеливо живу, не покупая нужных вещей по хозяйству (обходясь тем, что дала Анна Ивановна), поэтому суп, второе, компот, вареную и жареную картошку, винегрет, яйца, кофе — умечаю все процессы с изобретательностью эквилибриста в маленькой кастрюле, двух мисочках, двух эмалированных и одной алюминиевой тарелке, служащей сковородой; воду из сеней нося в банках, наклоня голову в низкой двери каждый раз, порой стукаясь. Будь большая кастрюля, бидон — жизнь куда была б легче! Но их — нет. Купить — дорого. Привычка в годы голода, разрухи к тому, что нет многого, так что никакого протеста нет. Наоборот, странно было бы все иметь, даже и неуютно как-то. Не о чем бы мечтать! А зато какой праздник — нести домой свою дешевую мисочку, ложку и терку (Рите, уезжая, оставлю). А вчера, из-за тяжелого холода в первый раз затопив печь, обнаружив неоцененный клад — большую эмалированную крышку из-за отвращения к чужим вещам, вместе с хозяйским старьем задвинутую за печь: освободилась тарелка, два месяца служившая крышкой своей сестре, хранившей остатки пищи. (А все покрывать потому неизбежно, что с потолка сыплется от сырости штукатурка.)

А веники! Счастье, — вырвав минуту, идти на холм, рвать на ветру по одной поредевшие полынные травки и нести их бережную охапку, решая — один, два? — перевязывая бечевкой...

Нет, без сокрушения, богатой быть — непристойно. И во всяком случае — смешно.

«Никто кота не замечает, никто кота не ласкает, черного...» И в смутной тревоге — что говорю? Это же кто-то уже говорил... когда, кто? Догоняю, как сон, быть: мне, в Сибири, восьмилетняя Рита, в избе: «Никто кота не жалеет, никто кота не ласкает... кот спит на тряпках, одет — в тряпки... Знаешь, про какого кота я говорю?» И вот десять лет

спустя, прожив отроческие и девические годы, она каждый год, расставаясь, — а я все старше и старше, слабей и слабей — и, все больше для нее делая и все сильнее привязываясь, встречаю — нередко — холод, оттолкновение. Может быть, месть за то, что я с ней в детстве, очень трудным ребенком, часто бывала жестка, раздражена, срывала на ней усталость? Если так — я готова терпеть. И перестая спрашивать. Только одно понять не могу: шесть лет подряд она летами со мной паслась в кустах ягод у Лёры в саду в Тарусе, в саду у Марии Ивановны в Семхозе. Она видела меня в их жизнях, их и мою старость. Лёра — ушла, Мария Ивановна уходит. Как может она не дрожать за меня, ее воспитавшую, связанную с ней столько лет? И она не переживает разлуку. А я уже томлюсь! И так каждый год, и, может быть, уже не увидимся? На ее ладони это «может быть» — так легко! Как можно не трепетать от разлуки, как только падает на твой путь ее тень? Другой век, все другое...

Перенесли ворота — назад, уменьшая двор, будут крыть его — от заносов. Так хозяйственно, степенно... И вдруг — бурная радость:

— Шар, вам строят дом! Вы уж не будете под сугробом! В холодной, но комнате! Шар, ты же не понимаешь: из-бу!

Нет чернил в Кокчетаве! Ни в «Мелодии», ни в киосках. ...Столько потратила сил! Хоть бы был пустой пузырек, я бы из химического карандаша... Только подумала — набредаю на пустой пузырек, чернильный... Подняла восхищенно! Жизнь по Гримму, по Андерсену, по Густаву Мерингу (Мариам, нужда, золотой в мусоре...).

Рита болела недавно, а меня (я варила, от духоты, в сенях, сквозняки) начал скручивать радикулит. А — стирка, как бросишь? И вот заводным движеньем, осторожным, прося спину, чтоб не сделалось хуже, — ни вправо, ни влево, бережно, как с сумасшедшим, несущая таз, приседаю перед цистерной, кручу колесико... И — назад, наклоняясь вперед в изобретенно-вынужденной позе, на согнутых руках — драгоценную тяжесть воды, плещущую золотом ржавчины.

И сполоснуто, выкручено, вывешено! И еще радость — да какая! В магазинах появилась картошка! Можно не тащить с базара, издалека. И суп наварю густой, себе тоже, наемся и я — всласть! Дотащила! И сыплю в ящик желтовато-розовые комья, по Сибири привычным глазом встречая: красная — «Берлинка», белая — «Лорх», длинненькая, чуть розовая — скороспелка... Семь лет грудь к груди с огородом — разве его позабудешь? Огород, моя страсть, отнятая отъездом оттуда, — 22 культуры, разведенные на десяти сотках в первый же год. За ДВК я не приношу благодарности — край этот не полюбила, но за последующую Сибирь, и особенно за мои там, из семи лет, три полного одиночества в избушке, — кланяюсь судьбе низко: нигде, никогда (разве — в детстве) не была так свободна, как там!

...Ритино мне «Баб» в пять лет ею («Баб, дорогой» — мужской род), медленно начинает переходить в (сперва) шутовское, подражая кузинам Марише и Лене, так говорившим при ней своей бабушке, Марии Ивановне, — «бабенька». Признаком моей старости, ее вырастания — в этой перестановке имен...

Больше пяти кило (разделенных на две руки) в гору нести — никак! Изнемогаю. Судьба спасает глаза — столько лет! Запрет уже нарушенной сетчатке. Но разве не с

самых небес пришло вдохновение, — надев веревочную ручку сетки на ручку палки, везти по земле палку — как тачку везут, по забытому физическому закону почти вчетверо (впятеро?) легче. Иду почти налегке.

Писала ли о том, что горы, близкие, — мешают, а дальние (а холмы и вблизи) помогают жить? Вот холмы обняли Кокчетав полукругом, утешают его: мы — тут, мы — кругом, охраняем от холода, пустоты, беспредельности...

...Это было так: листья падали с веток, и я их жалела, что их сжигает жара. Потом: «А как-то поредели деревья? Или — кажется?» А они все редели, а листья падали, на траве уже был ковер. Стали одни деревья — желтеть, иные — делаются пестрые. Другие, зеленые, крепко блюли зелень. Там и сям — уж совсем голые ветви. Только тогда я, до тех пор любовавшаяся бездумно, поняла: осень!..

Ночью уже нельзя было покрыться байковым одеялом и шалью. Я стащила с бывшей Ритиной постели новый, плотный, бесконечной длины половик, синий, с красной каймой, и покрылась сверх всего им. Сделалось — как в палатке. Подагра стихала под ней, как снег тает под солнцем. Когда тепло — снятся сны.

Грею грелку и ее переваливаю по постели, холодной. Ноги окоченели. Боюсь, что погаснет. Как усну тогда, с ледяными ногами? Неужели завтра будет болеть голова? То, что я, в 72, требую того же, что в 27, — это гибель моя или спасение? Должно быть, и то, и другое, перемежаясь...

Нет моей сестры Лёры! Стих тот неповторимый уголок жизни, который был, ее комнатой в Москве, огромной, с портретом матери ее, первой жены папы, красавицы в голубом шелку, с локоном и полуулыбкой. Комнатой с гостеприимным чайным столом и вкусными сытными ужинами — все носил 86-летний муж ее из столовой (я заночевывала у них с 1959 года по 1966-й).

Беседы глубоко в ночь — о папе, о всех нас, о Марине, о старых годах, о всех, кого знали и помнили... И тарусский сад — плод ее рук, цветники, холмы и овраги над Окой, гущи цветущих кустов, кошки, погибший любимец Трезор, еще живущий на фотографиях... Цветные стекла террасы, куда приходили люди, чаепития — все стихло! Они оба ушли в один год — 86 лет и 83. Мария Ивановна уходит в 76. До каких доживу я?

Жизнь среди книг, рисунков, вышивок, писем, приема гостей, с неизменной страстью к изящному. (Как прекрасно, что она написала целую книгу о папиной жизни! Я, читая ее, плакала...) Летом — изыски цветочных кустов ее разведения, посадки, волшебный вид на Оку. Она посвящала кусты цветов Зое Лодий — вот этот куст роз, другим, кому — позабыла, эти посвящения значились на дощечках — как в книгах... Взгляд ее глаз, уцелевших, зеленых (от моих — половина!). Ее смех, ее шутки... И вот пришел конец. И осталась в сердце неповторимость, которая весит столько же в камне, как невесома пустота. Отсутствие! Разве можно смириться с насильным отсутствием человека? И — чувство вины!.. Андрей Болконский и жена его Лиза, Лёра и я. Мое, от усталости, нетерпенье к ней во время ее болезни, к ее трудностям, резкостям, мои, вырвавшиеся только два раза кажется, резкости ей в ответ — деготь в мед, все испортивший!.. Зачем я не удержалась? (И сегодня — зачем с Ритой? Зачем усталость свою оправдывать — в крике? Распушенность! «Удерживайтесь! — говорю я другим. —

Потому что останутся вам одни слезы — как мне!»).

Как я счастлива (как она щедра!) — незадолго до смерти еле читаемые ее карандашом слова мне: «Милая Ася, я очень благодарна тебе за хлопоты, за посылку...»

Папа, мама, Лёра, Андрей, Марина — я осталась одна из всех. Не с кем перемолвиться о детстве. Сколько мы вспоминали ночами! И то, чего не спросила ее, уже не спрощу. Никогда! И никто не скажет мне «Настаська»... «Настась»...

Кошка вчера родила котят на улице, ночью, они замерзли. Утром она принесла мне мертвого котика, черного с белыми лапчиками, они вытянулись (ноготки — как резные, длинный красивый котик, готовый жить, — встретил смерть). Кошка гладила его головой, согревая, смотрела на нас вопросительно и тревожно. Анна Ивановна чуть не плакала. Потом она котика унесла: «Заброшу...» И я дала унести, а потом опомнилась, и пошла искать его, и закопала его во дворе. (Я было пошла за обедом, но вдруг поняла: закопать надо! На часах было два, обеды уж, верно, кончились — я вернулась. Он лежал там, где я, повернув по холму, вдруг вспомнила о нем, о своей оплошности. Точно его кошачья младенческая душа позвала меня...)

Тема Юди Каган: повторение, парность явлений.

Шла по улице под таким густым громким щебетом, что голову подняла к ветвям: какие крупные птицы! Неужели это воробьи? На другой день, за столом у жены Доброго Духа, со степенной, громкоголосой, с удивительными, по врожденному драматизму, интонациями их трехлетней Леночкой, с большеглазым, почти без тела! с ртутными движениями двенадцатилетним братом Васей, — слышу голос их матери:

— А какой щебет громкий на деревьях! Не обратили внимания? И такие большие птицы! Неужели это воробьи?

...«Баба Яга» — и все? Нет! Сегодня, когда я шла по улице Валиханова — быстро, по асфальтовой дорожке, сбоку ко мне прыгнул мальчишка 7-8 лет, руку мне — к носу: «Бармалей!» Я прошла, но сердце забилось от неожиданности? От обиды? Задумалась. Каюсь: сняла очки (атрибут странности). Увы, не помогло. На обратном пути снова. Я, остановясь:

— А ты сам читал про Бармалея? Ты умеешь читать?

Отпрыгнув, обидчик стоял в отдалении, и его рот, верно, кривился — и от смущенья, и от желания продолжать дерзить. А я шла — и грустила: неужели же до этого дошло? Что пугаю детей? Вопрос только в том, Яга или Бармалей! Воображала продолжение беседы. Как доказательно убеждаю, что совсем другой Бармалей, и читал ли он, видал ли картинки — и как после долгого тупого молчанья мне летит ответ, неожиданный по убежденности и насмешке.

— Ты — Бармалей!..

Несколько лет спустя 12-летний худенький оживленный Вася, сын Доброго Духа и его Добрай жены, смеясь моему рассказу об этом, мне ответил (на вопрос, что же так похоже во мне — ну, скажем, на Бабу Ягу):

— Нет, не очки, и не длинный нос, и не палка. Волосы! Длинные очень... (Не стриглась с Москвы, длинно торчат из-под шапки.) Нет! То есть и волосы, может быть, — но основное — тот неуют, что летит со мной, когда, всегда опаздывая и всегда в тоске, что опять день прошел, ничего не успела, я мимо них пролетаю, — нос, очки, палка, волосы



— что-то, unheimlich... насильно их, советских детей, ввергающее назад, в сказку, — какой-то Летучий Голландец, Вечный Жид...)

— Вы похожи на — знаете кого? На Марфу Посадницу! — мне, в мои 50, в лагере солист оперного театра, старик Сладковский, потрясавший россиниевской «Клеветой» весь театр, встав, аплодировал и он, напружив шею, старую; бритая голова — красный шар, все тянется мастерски, рокот и гром заключительной ноты...

Да, хорошо придумала! Изнемогая от тяжести (а всего 5-6 килограммов, не больше... где моя силушка, ворочавшая (не телом, всегда худая была) — энергией молодости и упорства — чемоданищи книг, бревна для топки в годы разрухи... одно только упорство осталось, но вот еле везет по холмам 5 кило!) — прицепила кошелку на ручку палки и, опустив новым концом на дорогу, везу, как на колесике... хорошо!

...По асфальтам Валиханова, моим частым путем, — иду, и летят мимо «инкрустации» в мягкий еще тогда асфальт, камешками, дети свое геростратово стремление пребыть — «Валя», «Славик», «Серегга»... Искусно — «заподлицо»... А другой детский «дух» (увы, старше, должно быть) мелом выводит, как на школьной доске: «Стоп! Здесь смертельно опасно!» И дальше — выкрутасами издевательскими с завитушками: «Любовь до гроба — дураки оба»... Тристан и Изольда, Ромео и Джулия — вы?!

Радуюсь счастью — дня (и сколько такого освещало дни за жизнь!). Сообразила, что неверно сходила с автобуса № 4 у Ритиногo института и шла четыре квартала вбок и вверх. Надо всего одну остановку проехать дальше и, сойдя — и вверх — один холм, я дома, да еще полынью и тишиной вместо улиц с бабаягиными, бармалейными мальчишками... Так нас нежданно за благотерпение дарит — жизнь...

И разве можно забыть, что не в каком городе — а в Кокчетаве! я в 72 года впервые ехала в автобусе с нежно-палевыми занавесками, и они трепетали между солнцем и ветром, как крылья мотыльков в детстве...

Сны! У меня есть повторные сны — и у каждой темы — вариации, серии: Коктебель, море у дома Максoва... Яблочные сады Тарусские, и никак во сне не поем яблoк! Дом отдыха... («Узкое», 1924-28-е годы.) И еще Музей, папин. На все лады.

И — незнакомый город, куда приехала.

И — чудные горы, Альпы, не Алтай, не Урал...

Много позднее мне приснился этот небывший, во сне так знакомый светлый дом — посреди огромных полян и мхов, и было такое счастье в нем с кем-то, отдаленно, по фантастичности похожее, как видение на видение, — на Феодосию моих 23-26 лет. Там тоже была легкая (наяву — двухколесная) коляска, высокая и упругая, и это вдвоем, посреди солнца, распахнутых комнат, пропитанных светом и воздухом, ощущение сна «на новом месте». (Наяву то, сходное, было обратно, как в негативе фотографическом: темный сад («Бузулак», «Темный сад» по-татарски, — дом, куда еле входило солнце...). И вот мне изредка снится — реже всех тех снов: опять я иду в ощущении сходства с тем счастьем мхов и солнца, но дом тот, светлый и новый, вторично мне никогда не приснился, только память о сне — во сне снилась. Но было, что бреду по лесу, густому, и вижу крутокрышную гостиницу, темную, уютную, старые деревья с корнями наружу, поиски чего-то, и какая-то ласковость места, и чувство, что «то» близко...

...И опять — Бармалей! И опять печаль и малодушно мысленно (а очки — и

фактически) снимаю с себя (по одному) Бармалеевы атрибуты: за очками — палку, стригу воображаемо волосы, — чтоб узнать, когда наступит момент, что уже не будет во мне бармалейского.

А деревья желтеют, и это всегда — Сокольники, осень 1907-го или 8-го года, Марина и я в гостях. Сырые аллеи сада, ветер, прелые листья. Почему из всех недожитых (потому и снится, и помнится, что недожито) осеней, сырых уже, мне всегда только Сокольники, тот один день, неуютный и нерадостный, к которому совсем не хочется — назад?..

Шар, благодаря, нежнейше, за подкормку (жалкую!) и за совсем почти собачью мою ласку (родную!), понимает отлично, что не в ней дело (только услада, беглая, луч солнышка по собачьей шерстке) — а что надо-то дом сторожить, лаять...

Научиться у Шарика!

Писатель идет по дню, как по берегу, — и тащит за собой сеть. Иногда он до дома донесет всего одну-две-три рыбки, остальное — скользнуло прочь в муть забвения.

Когда тигрового котенка отдали и черная кошка ходила потерянная, спрашивала — глазами: где ж он? — Володя, деловитый шофер, сказал жене: «Видишь, как животное мучается! Как человек! Ты сходи заведи его...»

Ей было некогда и перед людьми «неловко», и котенка пришибли дверью. Я сперва не хотела Рите сказать, омрачить бесплодной констатацией ее и без того невеселый день (дни — совершенно без отдыха, одно учение!). Потом — сказала.

И как трудно другого понять: думала, вскрикнет (так легко возбуждима!). Промолчала. А когда, о другом, я выразила ей что-то вроде: «Я думала, ты обрадуешься, удивишься...» Она мне: «Я — умилилась... А почему я должна говорить?..» Другое распределение свойств. Умница Майя Кудашева (в прошлом, тогда, Кювиле, в будущем — Роллан) мне об общем знакомом: «Ну почему я должна осуждать, возмущаться? П«р»осто (ее незабвенное французское «р») он не имеет некоторых чувств, для нас — близких. Почему он обязан так чувствовать, как мы? Ну, он, может быть, — она медлила, подбирая, — ну, может быть, он — мине«р»ал?!» Ей такое — довлело. Хоть бы довлело и мне! Чтобы не осуждать других.

...Стакан киселя попал в солнечный луч (луч — в стакан), и бурость зажглась нежным аметистовым цветом — и заподозрить такое было нельзя!

...Новая боль о Рите: уже переутомление! Месяц лекций! Всю неделю недосыпает. Учит английский: фонетику, интонацию, чтение, перевод, пересказ; языкознание, психологию, казахский язык; немецкий (стараюсь с нею говорить по-французски, которому училась с 12-ти лет; история революции (партии); анатомия (в морге стало ей одной дурно); лекарствоведение, — и весь день переходит с одного на другое без роздыху. И пока — я кормлю тем, что любит (овощи, сладкое). А потом, в столовых... А я должна ехать: писать книгу. И спасти себя от такой нагрузки быта, меня гнущей. Долго — не выдержу. И мой максимум отдачи ей — ей только минимум. И этот минимум я должна у нее отнять!

На столе, маленьком, где я пишу, и книги и рукописи, и лекарства, и камни, и

кухарю тут — на ободке тарелки разложила половинки разрезанных помидоров, для Ритино салат, сырой капусты, лука, сметаны! Что такое?! О чем я?.. А-а... (склероз не сразу ответил, то есть затормозил ответ).

43 года назад, день моего рождения; 11-летний Андруша утром — у моего изголовья — стул, и по его ободку — 12 половинок яблок! 12 дней копил, съедая лишь половинку у меня на глазах, на подарок мне — незаметно прятал... (Он тогда говорил: «Если бы вас одеть хорошо, вы были бы самая красивая женщина на свете! Ваши волосы вьющиеся, и ваши глаза зеленые, и губы (а бледная, потому что плохо едите)... вы бы...») Эта тема возвращается, как горная буря кругами, — «Баба Яга». Кричат уже хором... У их бабушек тоже длинные носы и седые патлы, но они ползают, а я — пролетаю. И их они жалеют — а меня... Я им объясняла, что я совсем на Бабу Ягу не похожа, что она летает в ступе — замечает след помелом, она ловит детей, я не ловлю. За ней ходит черный кот... Они, разбежавшись, став кругом, слушали. Потом, когда я, просветлев, сочла мою элоквенцию — победившей, мне вслед раздалось: «Я-га-а, — уже с добавлением: — Костяная нога...»

Советских детей не проведешь красноречием! Их с их позиций не сбить! А когда я поднялась к себе на гору, мне навстречу из ворот вышла наша черная кошка, и я содрогнулась невольно и воровски оглянулась: не увидел бы кто из них черного, себя доказавшего, бабаягиного кота...

Я много дней не смогла писать, стало совсем холодно, я уже не хожу в столовую, варю дома (дешевле, денег совсем мало) — и греюсь. Уже протопила два раза после двенадцати лет нетроганья печи, с Сибири, с 1964 года, с моего домика на улице Куйбышева (вот судьба!). И его героем когда-то ввела в мой роман «Четвертый Рим» (погиб в военные годы), — и вот тут, в Кокчетаве, оказался их бывший дом и музей, и сестра его (прочтя мое в «Новом мире») захотела со мной встретиться, и у нее похожие на него глаза. Мне думается, он был один из самых благородных людей революции, а лицом — единственный — красавец. И вот тут, в Кокчетаве, он жил до 10-ти? лет. И я читаю ее книгу о брате, их приезд в Кокчетав в старые времена, лошадьми, я прохожу с ней и Ритой по комнатам, где они жили детьми (будто бы — по нашему дому в Трехпрудном), я смотрю макет их дома тех лет, и бюсты его, и статуи, и портреты. Ей 71 год, она розовая, пышно-седая.

Ночные беседы с кошкой, пытаюсь — а она делалась упругая, как пружина, — снять ее с себя: «Зачем vous perchez comme un coq на мне???» Но кошка бодала меня твердым лбом, вила из себя гнездо и засыпала мгновенно. (Как бы это у нее перенять?) В общем, я с ней получилась Пигмалион, и она — Галатей. Но — «перегалатеилась»: до того воплотилась в настоящую кошку из дикаря-трубочиста, что с минуты каждой встречи — мурлыкает (и в заводе не было!). И нет проходу от нежностей.

— Баб, — говорит Рита, — ты «создала» эту кошку. Она до тебя не имела понятия о ласке, ее же никто не ласкал! И когда ты уедешь —

— Кот меня позабудет и будет бодать других...

А холм стал трудным: из радости — тягость. Ветер — сносит и в легком пальто через два свитера пронизывает насквозь.

Безденежье. Сжатость отовсюду: уже не хожу за обедом себе, 30 коп. на второе и ужин остаются в кармане — но все варю и варю дома; устаю. И холод не дает писать с утра — только когда к вечеру нагреется электроплиткой. Хозяйка уходит на сутки, только два раза оставила дров. Мерзну, но не прошу (раз в четыре дня, раз в три) — ведь заплатить нечем, а у сына оросить не хочу, а в Москве меня ждет пенсия. В комнате сыро, надо бы усиленно топить и сушить. Обострение болезни суставов. Постель холодная и сырая; когда есть свет, грею ее грелкой. Но свет гаснет внезапно, и ничего сделать нельзя. И были дни, что ко всему этому Рита вдруг отдалялась, приходила неласковая — о чем-то своем тоскующая, забрасывала немецкий язык. А отъезд близится — как обидно недоповторить учебник! Так удачно, хорошо начали... Но ведь я в 15 лет уже в дневнике писала: «Все течет к грусти, как по наклону сбегает капля воды»...

К бедам моим добавилось то, что стало рано темнеть, а Рита, готовясь к семинару по истории, стала или сидеть допоздна в читальне — и во тьме, в городе, где только в центре фонари, возвращаться одна в общежитие; или, занимаясь у меня, засиживаться и уходить от меня в темноте. Был вечер, накрапывал дождь; крутая, вниз, немощеная, в ухабах дорога была мокрая. В этот день Рита в первый раз была в морге, и ей там стало дурно. Весь день у нее болела голова, и в 9 часов вечера вместо того, чтоб уйти или лечь и остаться, она прилегла и тяжело уснула. Как ее было будить? Я дала ей поспать час, затем разбудила, предлагая лечь по-настоящему. Она встала: «Я ухожу!» Тогда и я стала одеваться — поехать ее проводить. Она начала кричать. Я:

— Идти одной по темному городу в день, когда тебе было плохо? Пока я тут — я пойду провожать!

— Это насилие!

— Нет, это осторожность. Да, наконец, я это для себя делаю, чтоб не беспокоиться. Мне лучше идти на дождь и в темноте возвращаться, чем остаться и мучиться, что с тобой...

Рита рвала и метала. Даже сперва не поддерживала меня под руку. Я шла, душевно заледенев. У остановки она грубила и насмехалась. Я боялась, что она убежит, и ходила за ней.

— Что ты за мной ходишь хвостом?

— Я не знаю, что у тебя на уме...

Мы поехали. От остановки, где мы сошли, ей было немного идти, шли люди (в моей части города — безлюдно). Я же, чтобы не возвращаться по грязи и темноте, да и сил не было, и страшно ночью по нашей горе, и можно попасться собакам, — я решила заночевать у жены Доброго Духа, до которой было от общежития недалеко. От проводов Риты я отказалась — это вышло как периодическая дробь.

— Ну, я пойду, мне холодно! — сказала Рита, повернулась и пошла. Может быть, оттого, что за минуту сказала мне: «Pardon me» ... а я ничего не ответила, не могла, то есть себя не заставила.

Сколько зла я принесла меж нас с самого ее детства — этим ответным холодом... Условились, что на другой день она, если будет здорова, придет в 5 часов. А затем — спотыканье по малознакомым проходам между домов, грязь, и холод, и четыре этажа, по которым взошли в день приезда с Ритиным отцом. Звоню и стучу, никого нет дома, и — безысходность всего обратного ночного пути, без сил, одной, — нет, хуже: со страхом (плохой спутник!). Был 12-й час, долго не шел автобус, огни общежития четкой лавиной стояли невдалеке. Рита думает, я в квартире Доброго Духа, в тепле. А будет ли автобус

еще? (Как я прежде в такие минуты волновалась! Поумнела или отупела теперь?) Я ждала 40 минут. Дождалась. Автобус и путь по горе между лаем собак с двух сторон, грязь, холод, ночь, страх и усталость. Но милая Чапаевская меня жалеет, я по ней ползу вверх — домой... И Шарик, и цепь Шарика, и крошки еды в миску Шарику, и «Не уходите, мой маленький Креольчик» (коту).

А на другой день, в субботу, я, все сверив, убрав, ждала Риту до 7 часов — не идет. Значит, больна. Сваренную еду — в банки, все увязала и в темноте — поехала. «Сад завода». Я сошла — и пошла вперед и с дороги не уклонилась, но общежития не было.

Я не узнавала и улицы. А когда мне сказали, что общежитие — вон тот дом налево, а он — стоял от остановки всегда направо и близко, — это уж был бред...

Он и был! Но нас не оставляют и в бреду: добрая женщина, пожалев, взяла под руку и повела через темную улицу, закоулками, поясня, что сегодня автобусы идут по другому маршруту — не по Маркса, а по Урицкого, и она меня довела. Разве свет без добрых людей? Когда я вползла с моей ношей пять этажей, Нина Герман, подруга Риты, открыла мне:

— А Рита уехала к вам. Сказала, я буду у бабушки ночевать...

И Нина вышла со мной, провела меня до неведомой бредовой остановки, и я с супом, винегретом, сметаной и хлебом с маслом совершила обратный путь.

Ты ни с кем не считаешься, сказала я Рите, — делаешь все, как тебе удобно! Уговор нарушаешь — спокойно! Я же сказала тебе, что, если в 5 не придешь, я поеду к тебе с едой. Я ждала до 7-ми, вымыла банки, все уложила, поехала — думаешь, это легко — на восьмом десятке?

Но Рита виновато молчала. И однако, эти два дня, два вечера в темноте с далекой неудачной ездой, в страхе, усталости и печали, эти четыре конца по городу без фонарей, с вхождением, тщетным, на этажи — что-то доконали во мне.

Вчера не выходила весь день, мерзла, топила, варила, учила Риту немецкому, грела грелкой кровать и, кажется, не смогла бы уже повторить такое. А вечером села писать, легла в 3 с половиной, спала с 4 до 9 — 5 часов — и 6 часов стирала, полоскала, вешала — и кормила Риту.

Что заставило меня в этот раз остановиться и долго глядеть вокруг? Туманный след тропинки кончался возле взъерошенной — трактором? — земли, но был это не участок ее, а крутой поворот, вздыбленный клочок свежей коричневой земли среди безмятежной нетронутости вековых мхов и полыни. Был непонятен смысл клочка этой земли — он был всего метра два в ширину, метра три в длину, но кривая его взлета была выше его длины. Дальше взрез земли длился еще метра четыре, но это была плоскость, и в конце ее — следы некоего лагеря, придорожного привала — два-три кирпича (самоделка печь?), мятый таз, сломанная лопата и подобие искривленной не то сковороды, не то кастрюли — какое-то цыганское пепелище.

И снова утро, и голодные дурехи-курехи неприкаянно ищут корм, которого нет, и петух утешает их хриплым криком, подрагивая на упругих ногах. Его гребень трясется, как флаг, подслеповатый и острый глаз вздрагивает в такт шагу. В комнате сыро и холодно, но я спала 7 часов и заставлю себя облиться холодной водой — для бодрости.

Да... ведь воды-то нет! — Есть! Из остывшей грелки!

Подсчет денег дает невеселый итог — сэкономишь до «пес plus ultra», а на почте денег нет, и растет страх — не случилось ли что? Сливочное — только Рите, мне — растительное. И считаю, считаю, пересчитываю, как свести концы с концами для помощи Рите и для посылки ей к 19 годам, ко дню рождения, и Оле и ей к елке, и всем хоть по крошечному подарку... Считаю, отменяю было решенное — три рубля хозяйке, чтоб дала дров; считаю так, как петух стучает клювом землю, где я сыпнула полгорсти крошек и куры подъели их до одной. Но петух стучит, я считаю.

Где надежда, там жизнь — говорит английская пословица. И я всегда надеюсь и жду помощи, и надежда никогда не обманывает меня!

Безденежье! Родные сени! Есть уют в ваших вновь раскрытых дверях...

...О, знаю я! И глад, и холод минуют,  
Пока страдает тело — крепнет дух.  
И зов о помощи не пребывает все,  
Доколь терпенья факел не потух!

Не я ли эти строки писала в лагере, 28 лет назад?

А вчера мне у Куйбышева сказали, что в общежитии, где студенты страдают от неустройства, начат срочный ремонт, добавят батареи, откроют уборные, что замминистра был у ректора, что наведут порядок!

...У жизни есть — а и не чаешь ты —  
Такие колдовские повороты...

Верю, что завтра (по-старому — уже завтра Покров) я и мыла смогу в Кокчетаве купить (в аптеке не продается, в продмаге тоже, а ларьки — невесть где, нет сил идти). И уехавшая на два дня хозяйка, не налившая мне воды, вернется, нальет... Из цистерны я наносила — мыть руки, стирать (да вот мыла нет!), а питьевая вода кончилась начисто, а ведром, если подстеречь заезжую бочку, ни Рита, ни я — не можем.

Был грустный час одиночества после Ритиногo равнодушия — так выбиваюсь из сил, чтоб ей помочь... вдруг усталость — кольцом, иду, ничего не вижу, не чувствую, одна — и тупая боль.

Что-то отводит взгляд — вбок — он позван: меж полынных стеблей, низких, — два белых кудрявых перышка! Те самые, которые я искала тогда. Была странная ласка в их появлении сейчас, тень утешения. Значит, все-таки здесь была белая курица, здесь ее могила — курган, здесь следы пропавшей тропинки!

В утро первого снега, после первой зимней ночи я подошла к разваленной, с одним только боком крыши, будке Шарика. Он не вышел навстречу, даже не встал. Он сидел печально и строго, и в его горе была величавость. Он продрог тут всю долгую ночь, под снегом в будке без крыши, и никто не помог ему. Он посмотрел на меня жалобно, благостно и благодарно, но, кажется, он тихо дрожал. Мне нечем было утешить его, кроме ласковых слов. Они (тон!), может быть, усугубляли горе? Если бы еще я ему принесла миску еды! Но еды не было. А когда появилась, она стоила уж много дешевле, чем — явись она в тот час. Я несла ее, уже было немного солнца, снег таял, и, гремя цепью, Шар шел навстречу, живой и приветливый. (Тот безнадежный час так и ушел безутешным, тот

Шар был и мною оставлен наедине с бедой...)

А озеро говорило: «Ты меня видела два с половиной месяца — столько раз в день! В конце твоей улицы! Ну, пусть длинной... И ни разу не удосужилась прийти ко мне, пожертвовать каким-нибудь делом...» И вторил ему край улицы Маркса, где гора и где столько недель была аллея зеленых деревьев. «Ты же столько раз собиралась меня снять на память! Не сняла! И снимаешь теперь, когда аллея пуста, а гора — вместо темной — белая? Снимешь мою смерть?»

С дровами вошли в комнату мою — грязь, мусор, кора, снег, и уж не хватает сил протопить, надышавшись паром, жары, спешки сварить картошку, суп, компот, кипяток, и — как бывало — подмыть пол. Комната уже не бедная, но порядком нарядная — бедная и в хаосе: сушатся всюду одеяла, одежда, под кроватью щепки, бумага, задвинутый мусор (сжечь). Долго этих топок не вынести — стара...

Был день, очень холодный, когда не было сил идти мерзнуть на страшном ветру, набирать плохой воды из цистерны, наклонясь; из дыры хлещет ледяная вода на руки, никак быстро не закрутить кран. И я мыла руки в какой-то грязи, оттирала их тряпкой, чтоб не заоченели руки совсем.

Вот в какой час (и свет выключился!) забежала по крутому крыльцу к хозяевам на их свежепокрашенный, с чистыми половиками пол, на низких дверях — гардинки, накрахмаленные занавесочки окон с геранью, и над диваном (тем самым, где я в первую ночь спала) — малахитовый лес и золотые олени, парадные оба — вне мер... Ослепительные. Замерли, насторожась, олени, слыша — собаки! — лай...

Возвращаюсь в свою зачуханную избушку, и, как боль сердечная, под лопаткой — так же сосет мечта (мечтой и останется... сил нет!) — выстирать нашу (хозяйскую) дорожку — в три метра длины, плотную, по которой 12 недель ходили — и заходили ее...

Никакой наставшей, после денег ей за дрова и обещанья уплаты за электричество, хозяйской «лаской» (принесла ведро угля — «надо же вам согреться»... и сама кочергой печь мешала, и таз дала для золы...) — не вытравить тот миг «дурного сна», вдруг с нее (на лесенке в огороде, у окна стоявшей, украсившей ставни) — на меня (снизу к ней подошедшую) рухнувшей, когда после двух с половиной месяцев дружеских разговоров и моего уважения, радостного, к ее деликатности и сердечности — она на мое ей: «Дровец мне дадите?» — очень уж холодно, вдруг сломав голос, дав ему стать грубым, чужим: «В последний раз еще дам вам, а там как хотите! Володя ругается, даю, нам в доме две печи топить, да вашу — нет уж...» И на мое растерянное: «Так как же? Не топя сейчас — никак...» — ее подчеркнуто отдаленное, развязное (модулируя голос по всей шкале разрывания дружбы): «А уж это — дело ваше! Как хотите...»

Это был классический миг (по Достоевскому — «Скверного анекдота», по моему ощущению — дурного сна). И когда, поняв, чего недостает в нашей беседе, я сказала, что хотела бы где-нибудь дров купить... «может быть, вы бы мне продали...», я была через полчаса позвана: «Хочу дровишек распилить, да мне не с кем...» — и я, не пилив с Сибири, весело взяла пилу, и мы стали пилить, и я слышала: «Да, вы пилить можете...» — «Приходилось... Надо только к себе тянуть, не толкать...» — «Ох, посмотрю я на вас,

какие вы крепкие! И сколько вы пережили! И вам ли дрова пилить...» Напилив и как-то мало устав, пять хороших охапок, я вошла, оживленная, к нам, радуясь, что не задыхаюсь, и тотчас началась боль душевная, потому что Рита, на миг оторвавшись от учебника, равнодушно — не участвуя, отсутствуя, не сказала мне (хоть бы — то бы согрело!): «Молодец, Баб!» — продолжала твердить урок.

А затем был тот главный удар по мне — Ритино: «Тебе совсем нечего тут делать, тебе незачем тут жить, прекрасно можешь уехать! Мне надоело сюда приходить, надоела твоя опека, я хочу быть — самостоятельна!» — «Отчего же тогда не стираешь, не ходишь в столовую, не готовишь одна задания?» Я была растеряна, как перед Анной Ивановной с дровами. О, больше, конечно! Я стояла и, не веря ушам, слушала: «Чего ты не уезжаешь?»

Глотнув глубоко, как в детстве, загнав боль вглубь, я услышала свой холодный, сыгранный голос: «Я уеду, когда сочту нужным. Когда кончим шестой класс немецкий и когда выяснится с отоплением общежития».

«И нечего выяснять! Другие живут, и я буду жить!»

«Три красы Кокчетава! Без зеленой его красы сизая и желтая (озеро, горы) — полдела!» — это было записано на коробке, в кармане... С тех пор горы стали снежные, белые...

...Есть еще в России проселочные дороги. Ими, пока не застелили асфальтом, полон Кокчетав! Город Кокчетав и мою повесть о нем я люблю тою живою любовью, как Шарика и Галатею.

...Друг мой Женя К. пишет мне из Старого Крыма, что про нее один малыш сказал: «Вот Баба Яга!» И смеялась! Но когда мы свидимся и она и брат ее Юзя прочтут мою «Бабу Ягу» (не один малыш, а бабаягины, бармалеевы хоры!) — я выберу жюри, станем рядом — пусть решают, чья Баба Яга первый сорт. (Юзю в жюри нельзя: брат, родственное пристрастие!) Но что одолеет в нем — тяготение к Красоте, за сестру, или тяготение к ее Славе.

Вот и кончилась Ритина любовь. А я так радовалась идиллии жизни с нею. Как мне жаль, что она от тех слов не удержалась! Не надо было ей мне их сказать — не дотерпела моих забот несколько дней! «А “самостоятельность” ты хлебнешь — ковшом, годы! — сказала я ей, — и волком завоеешь!» «И вовсе это не значит, что я тебя не люблю, я люблю тебя, но... Люблю, только поскорей уезжай!»...

А Шарик и Креольчик любят меня, я не одна. «Мяу» — выйти. Я приоткрыла дверь (чуть, потому что холодно!), черная молния вылетела из двери, это Креольчик-Галатея пошла гулять.

Значит, осталось 1 рубль и сколько? Застанет в Москве Женю Цветаеву моя телеграмма? Масло, сметана — на два дня еще есть, картошка, лук, морковь и капуста. Капелька сахара. Надо — хлеба, подсолнечного масла хоть 200 граммов, еще что? И вдруг там, где должна лежать пятерка Анне Ивановне (на железнодорожный билет — отложено) — лежат — гляжу и не верю — два маленьких желтоватых рубля! Как я их позабыла? Стою и смеюсь: разве это не чудо? Как в Големе, с золотым у Мариам...

И — деньги к деньгам, перевод в 40 руб. от Жени Ц-ой, и я хожу по магазинам,



переночевав у жены Доброго Духа с чинной умницей Леночкой, которая упрямылась читать стишок к Октябрьскому празднику в детсаду — про «красный флаг», «он на палке белый», сочно выговаривая «ый» вместо «ой». С ртутным мальчиком Васей, рассказавшим мне, сколько он выжимает одной рукой и что у них в классе один мальчик читал книжки в два года... я, после уютного ужина, спала в тепле как убитая семь с половиной часов!

Купив хозяйкиной Люде черную собачку (Шарика), Рите — мыла, зубную щетку и пасту, себе — тетрадей и карандашей, себе — плотные чулки и чулки Оле, масла, сыру, Ритин джем «Алыча», хлеба, подсолнечного масла, еле ползу, дав внуку К-ой урок, к себе в гору, радуясь, что сейчас накормлю Риту. А от нее записка: «Дорогой Баб! Думала застать тебя, но ты, наверное, у К-х. Сегодня уже не приду (много заданий, иду в библиотеку). Завтра! Целую тебя крепко». Я стала топить печь, варить все на завтра. И, поздно, села писать.

...Будет у меня в поезде повесть о Кокчетаве, фотоленки его гор и улиц (озеро все же постараюсь снять!). И два затвердевших куса рахат-лукума, отложенные мной почти месяц назад из купленной мне Ритой коробки.

По моей просьбе К-ва запросила ректора Ритино института, будут ли добавочные батареи в комнатах. Он ответил, что, может быть, зимой не удастся, уже начали топить, но что будут приняты меры, чтобы было тепло. Затем есть надежда, что, может быть, Рита сможет перейти назад, на место в уголок, — Нина плохо учится, в ней ошиблись, ее, может быть, переведут в другую комнату, и учительница Риты возмутилась тем, как она в отсутствие Риты перенесла свои вещи на ее кровать, а ее положила к окну.

Большого я не добьюсь, надо ехать. Завтра дам телеграмму Нине — невестке, чтоб она мне ответила, — и надо брать билет. Жена Доброго Духа дает мне длинное, черное, суконное, теплей моего, пальто.

В Кокчетаве — зима: выпал снег, ветер. Шарик не выходит из дырявой конуры, печальный, дрожащий и серьезный. Я всунула внутрь миску с едой, он ел жадно, благодарно, пустив хвост — метрономом, но на оживление у него нет сил. Я попросила хозяйку завесить ему голый край конуры, там висит телогрейка, и я бросила ему под ноги кусок мешковины, которым я подтираю пол, — хоть на йоту будет тепло. И со стыдом, но жадно, как он ел, — ушла в свое бессовестное тепло. А ветер все воет.

Даю урок английского языка внуку К-шевой, — хоть бы Риту пригрела потом...

Как ее оставляю? Все время у нее постоянно болит сердце, а понять, что ей 6-7 часов спать и 17 — заниматься нельзя, — не хочет, упорна; ничье слово ей не довлеет. Боюсь, свалится.

Приходила Люда, закутанная.

— Дай кассеты!

— Нет конфет!

— А это? Дай сахар! Дай есё! Дай! Дай хлеба! Хеба!... (угрожающее начало плача).

Собрала дань, ушла.

И — ее возраста — Леночка Доброго Духа; чудно, сочно, упоенно и медленно выговаривая слова, как отвешивая на весах товары, радостно:

— А когда я вырасту, у меня будут очки! И я в них буду видеть (пауза упоения)

еще больше, чем сейчас!

Вот и стройте с ними двумя коммунизм!

А в ночь Володя, проработав до двух — один! — на вкопанные им тоже столбы втащил лежки и, громыхая — дом спал, а в моем домике царствовало писанье, — взнес и укрепил и поперечные, и продольные доски длиной и шириной — в двор (значит, не так уж дружны столь лицом похожие братья, раз Славик не пришел ему помочь в лишь единожды делаемой работе!..), и наутро во дворе настал уютный полумрак с только меж досок попадающими узкими солнца.

И тогда, ибо ветер во дворе напрочь стих, я удивилась: только что мною крепче поправленная на Шариковом доме телогрейка вновь оказалась на снегу двора, и на ней лежал Шарик. Как? Ласкаясь, он встал, и я еще крепче закутала об острия остова крыши конуры рукава телогрейки, заглянула туда — уют, темнота! И удовлетворенно ушла к себе. Убрав, я печально обнаружила, что на дне водяного бидона в сенях — пусто, и, с двумя стеклянными баночками, пошла в хозяйский дом, чтоб хоть на суп хватило! Но, шагнув, я замерла от удивления: в пустой час, когда никого, кроме нас с Шаром, не было, кто-то снял только что заботливо укрепленную телогрейку, и она лежала посреди двора, и на ней спал Шарик. Он поднял морду, уши, зевнул, высунув розовый сонный язык, и, махнув хвостом, удовлетворенно, сибаритским жестом еще шире растянулся на верном ковре. И тогда только я поняла: не ветер, а кто-то — и этот «кто-то» был Шарик! — снимал с крыши (как рвал, должно быть, полы зубами, чтобы сорвать мною запутанные наверху рукава! бушевал с ними, как с цепью!..) телогрейку и ложился на нее спать: разве гений не живет в этом псе?

Как мы обнимались восхищенными лапами, счастливые сим открытием!.. И пустые стеклянные банки гремели, как кастаньеты.

Не удалось увезти в волшебной шкатулочке аппарата — статую бронзового Валерьяна! Так пусть же хоть озеро его волью на прощанье — туда, через таинственное стекло объектива! Я умолила Риту сойти со мной к холодному жерлу синевы. Шла, опершись на нее, скользя по местами заледеневшей дороге, спеша — солнце садилось, и столько еще дел, и собачий холод... Но что предстало глазам нашим, когда, перейдя поперечные улицы, мы наконец спустились к озеру Копа! Ни плеска, ни запаха водорослей, как в те, давние выходы к озеру. Воды не было! Неподвижность водяного жерла, абрис замерзших волн, и от всего бывшего водяного куска — безысходное дыхание холода, иллюстрации Густава Доре к Данте... Дрожащие руки, еле ощущая затвор, щелкали им, бессильно и лоя в объектив тускло мерцающий в вечереющем быстро воздухе величавое равнодушие бледных застывших волн, слившихся с берегом и горой вблизи, вдали — с небом в желтом сумраке вечера, — что оживет в проявителе, в бледном холоде пленки? «Баб, скорей, мы замерзнем!» — Рита топотала по льду теплыми старыми сапожками, купленными год назад в Либаве... Мимо музея Куйбышева, по Чапаева, на свой холм.

В Кокчетаве стало совсем холодно. Володя покрыл двор слоем соломы, жердями ее укрепив, и стало мрачно в Шариковом царстве — зато ему не бояться в наставшие старые собачьи годы ни сугробов, ни буранов — уж не будут откапывать его, как рассказывала Анна Ивановна, — «после двух суток заносов — и будки не видно». Заработал себе Шар

на старость — относительно тепло и покой...

А по улицам ходить — тяжело: под гору скользко, а ноги (холодные с утра до ночи, кроме когда часа 2-3 топчусь возле — не каждый день — затопленной печки и когда засыпаю, оставив их в грелку) скользят, палка срывается, того гляди полетишь головой об лед! Но я ежедневно хожу вниз в дом Куйбышевой на — заранее сказала — бесплатный урок к ее внуку, тоже Валерьяну, как знаменитый красавец дед, Волику, и в маленькой мальчишечьей комнате я стараюсь переложить в 17-летнюю голову упоительные моему 72-летнему мозгу хитросплетения английской грамматики. Он слушает добро, потому что добр по природе, смотрит на меня тоже великолепно, как у деда, глазами, в которых четверть куйбышевской крови, и готовит мне четверть заданного, обещая на завтра — все. Там, в комнатах за стеной его бабушка, сердечно больная, но добрая и бодрящаяся, принимает по делам людей, если не занята в музее брата, водит экскурсии — иногда и из-за границы. А я, возвращаясь домой порой и по лунным холмам, думаю о том, какая жизнь будет у Воли, потому что он оригинальный юноша: он не ходит из дому никуда, к ученью не имеет страсти, невзлюбил математику и точных ее сестер, но без конца читает. И у него нежность к бабушке и чувство юмора. Мне: «...На охоту?» — «Нет, не люблю. Раз пошел и провалился в болото. Больше не захотел...» И, провожая меня, он упорно ждет, когда их Мотя (хозяйка баснословной красоты кота Маркиза, которого она, одинокая, зовет «мой сын») кончит готовить обед или ужин и позовет к столу, вкусному и обильному, до которого Воля охотник. Что ждет этого мальчика впереди?

...А у меня, пальцы хоть и в перчатках (старею, как Шарик, угнетает и меня мороз), мерзнут все четыре лапы в мороз, — как и когда пойду снимать кокчетавские улицы? — все некогда: то тащу продукты, то варю пищу, то занимаюсь с Ритой английским, немецким, расшевеливаю ее к забываемому ею французскому разговору; а бронзовая статуя знаменитого, внезапно умершего в 35-м году века Валерьяна — стоит в рост перед домом, где он некогда жил, бегал мальчиком, не ведая, что тут будет музей его имени, что он встанет тут, может быть, до конца мира в бронзовый рост. Но я не могла его снять сегодня, потому что уже темнело, а вчера, когда бронзу великолепно залило солнце с левого боку, отточив собой его и без того точеные черты, и руки мои так бы поднялись к фотоаппарату, — аппарата не было, нехватила. Удастся ли до отъезда снять?..

Билет, чтоб мне в резиновых ботиках не ехать далеко, не переходить разрытые улицы, любезно взялась взять, по своей линии, Е. В. К-ва. Он был взят на 25 октября.

Шли последние мои дни в Кокчетаве.

Рассчитав продукты, я варила остатки всего: в котелке хозяйкином, вдруг ею данном, горсть картошки в шелухе — останется — возьму в дорогу. Кашу (гречневую — и никакую) — Рита не ест, себе. Дважды в день есть — и литровую банку в путь. Хлеба, сыру, сахару, масла немного. Радуюсь, что не буду тратить в дороге, все свое. Беречь деньги на посылку Рите, ей скоро 19 лет, — маленькую; радость попить с подругами среди трудных учебных дней. И весь остаток подсолнечного масла — на тарелку, служащую сковородкой, — лук жарить, в кашу.

...Через силу тащусь проститься в малознакомый, но Рите полезный дом, и ее с собой, — областной врач, ее мать, отец (старый преподаватель) и подросток-дочь, учащаяся кроме школы и в музыкальной, сыграет нам. Рита отогревается у тепла чужой

семьи (а я уж успела зайти на четверть часа к Доброму Духу, — он с поезда, простудился, лежит. Этим людям я оставляю Риту...). В 11-м часу я у остановки автобуса, прощаюсь. На ночь с ней, она будет еще заниматься. На завтра я приглашаю и Римму обедать — суп, два вторых, чай с вареньем. Еще надо вымыть захоженный (уголь, зола) пол...

Еще не согревшись, схожу, иду до своей горы. В последний раз подымаюсь, иду еле, нет сил.

Ворота заперты изнутри. Калитку еще не навесил Володя, она вбита в них наглухо. Стучу в дом. Тишина. Куда идти спать? Вниз, далеко, к Куйбышевым? Одиннадцать с половиной часов... Стучаться к соседям-казахам? В отчаянии (Шарик с той стороны нюхает, «помогает») намираю плечом, стучусь — с грохотом летит внутрь выпертая мною — слава богу! не на Шарика! — калитка (широченная доска высотой в человеческий рост) — и я вхожу в свой нетопленный угол — свет есть, какое счастье! Грею воду в грелку, ложусь.

На другой день — всё сразу: собиранье посылки (шлю основное в Москву, налегке ехать), мытье посуды, макароны в соусе, жареная картошка, мыть пол, и уже опускаю в таз страшный половик, нами загубленный, в мыльную воду и тру во всю мочь, вызывая к жизни его цвет, когда раздаются свежие девические голоса и входят Римма и Рита. Дружны! Это мне радость! Серые большие глаза Риты, широкие, высокий прекрасный лоб, русая. Карие, красивые Риммины, нос с горбинкой, маленький рот, темная прическа, хороша!

Отмываю руки, подаю суп, второе, еще второе и, пока едят, — нечеловеческие усилия — кончаю два с половиной метра половика. Выжала! На мороз! Печь еще топится...

Рита шьет мешок, укладывает посылку, и, спеша (скоро закроется почта), выходим втроем на улицу. Там я снимаю их. Еще надо — хозяев с дочкой и Таю с семьей... И, нагрузив Римму оставшимися овощами и хозмелочами, Риту и меня — посылкой, — с горы.

— Это тебе, баб! В дорогу! От меня — ты непременно съешь! (Коробка мармелада и пачка печенья — «райские кушанья» в мой суровый дорожный стол.)

Мы так хорошо говорили с Риммой — она рассказывала о своих, восхищалась моими воспоминаниями в «Новом мире», сроднились за эти часы. Она целует меня на прощанье девически нежно. Милая молодая душа! Что-то ждет ее? И что — мою Риту?

С посылкой мы — еле-еле поспеваем... Но сберкасса закрыта. Тамара уже уходит. Вот так так! Как же быть? Я должна была получить, закрыв счет, 25 рублей!.. (Я должна из них отложить машинистке, моему милому другу, так бьющемуся с моим почерком — годы, Елене Александровне Водо.)

Голос из почтового окошка:

— А вам, Анастасия Ивановна, перевод есть: из Старого Крыма, 25 рублей!

— Баб, это просто чудо! — шепчет Рита. — От кого??

— От Жени Куниной, кто же, кроме нее, — я писала, ей, когда билась с деньгами, не просила и вовсе не думала... О, я ей напишу, как это замечательно получилось, — еще одно Големово чудо!

А Рита уже распечатала мои два письма — последние мне, в Кокчетаве! От Марии Николаевны Изоргиной, чудной певицы и женщины, две недели знакомства и дружбы с ней в мае, этом, в Коктебеле у Маруси Волошиной; от Григория Николаевича Петникова,

поэта, встреченного в молодости в Доме Герцена у писателей и в Коктебеле теперь, в доме Макса.

Второе письмо: «Пишу Вам уже на север, в столицу. Хорошо бы Вы приехали не очень усталой, хотя силы неисчерпаемы, когда делаешь добро, пусть даже его и не ценят... Не будем их упрекать! У нас стоит тихая, чистейшей лазури, осень. Кое-что написал. Жду Вашу рукопись. На яркой пока зелени сирени моей — темно-розоватые сплетенья дикого винограда, знак крымского октября. Ваш Г. Петников».

Медленно складываю письмо.

В последний раз миску еды — Шару, прощанье с Креольчиком-Галатеей (редко из-за холода стала ко мне ходить!). В последний раз топлю печь, жду Риту. Увы, она весь вечер не оторвалась от учебу сил.

Кончили немецкий учебник!

Снять Шарика! Коркой его завлекаю к прорезанной двери его крытого двора, куда его допускает цепь, кладу корку перед ней по ту сторону — чтоб высунул на свет морду. Но он тянет лапу, гребет корку и, схватив, убегает с ней. Но и я его перехитриваю: вторая корка лежит далеко, и, пока он старается над ней лапами, я щелкаю второй кадр. Бежит черная кошка. На «кис-кис» она обертывается — щелк, и она в третьем кадре. И еще Риту — с Шаром!

Через месяц. Из Ритино кокетавского мне письма: «Баб! Шарик после твоего отъезда три недели был — так скучал по тебе... И все время лежит возле бывшей нашей двери».

И вот мы идем по горе вниз с вещами, Рита ведет меня под руку — в длинном черном пальто (жены Доброго Духа), старое Ритино я оставляю ей покрывать ноги, на голове у меня шаль, она выбивается надо лбом, над длинным носом.

— Цыганка! (проходящие дети).

Рита и я смеемся. «Баб, это еще лучше Бабы Яги!»

— Рита, я еще оттого, верно, страшна сегодня, что всего 3 часа спала!

(А себе: вот и я удостоилась стать цыганкой. Страшной старухой — цыганкой! Про Марину писала по-английски внучка Леонида Андреева: «Она была худа, смугла, носила серебряные украшения, она была похожа на худую цыганку...» Марина, сама розовость в юности, золотоволосая...

Озеро лежало светлым маревом внизу.

Слава богу, мы недолго ждали автобус. Мелькают улицы Кокчетава... Вокзал. Тот самый вокзал, с которого началось повествование о Кокчетаве. И вот, пыхтя, справа подходит поезд № 91...

**1967**

**СНОСКИ:**

1 «Звон гитары катился жемчужиной...». Генрих Манн

2 Не знаю, что стало со мною

Душа моя грустью полна.

Мне все не дает покою

Старинная сказка одна.

Г. Гейне. «Лорелея». *Пер. с нем.* В. Левика

3 Не выносит «машины», как и я.

4 Буквально — «на четыре лапы» (*франц.*).

5 Годы странствий (*нем.*).

6 Резкости (*франц.*).

7 Дочь Марины, Ариадна Сергеевна Эфрон, Ритина крестная.

8 С птичьего полета (*франц.*)

Цветаева А. И.

Ц 27 Моя Сибирь: Повести. — М.: Советский писатель, 1988. —288 с.

ISBN 5-265-01017-3

В новую книгу Анастасии Цветаевой, младшей сестры Марины Цветаевой, вошли три повести: «Московский звонарь», «Моя Сибирь», «Молодость и старость».

Эта книга является продолжением широко известной книги воспоминаний Анастасии Цветаевой, вышедшей несколькими изданиями и привлечшей к себе внимание читателей и критики.

4702010201-451

Ц-----Без объявл.

083(02)-88

**АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА**

**ЦВЕТАЕВА**

**МОЯ СИБИРЬ**

Редактор М. И. Самойлова

Художественный редактор Н. С. Лаврентьев

Технические редакторы Р. Я. Соколова, Н. В. Сидорова

Корректор С. И. Крягина

ИБ № 7308

Сдано в набор 06.09.88. Подписано к печати 22.11.88. А 03323. Формат 84х1/32. Бумага кн. журн.

Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. Л. 15,12.

Уч.-изд. л. 15,16. Тираж 200 000 экз. (1-й з-д 1 — 100 000 экз.). Заказ №620. Цена 1 р.

Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель».

121069, Москва, ул. Воровского, 11

Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР

по делам издательств, полиграфии и книжной торговли,

300600, г. Тула, проспект Ленина, 109